

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВООБРАЖАЕМОЕ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В БЫВШЕМ СССР

*Политическое воображаемое
гендерных исследований в бывшем СССР:
взгляды изнутри, снаружи и со стороны. Круглый стол
(17 июня 2005, Москва, Фонд Дж.Д. и К.Т. Макартуров)*

В обсуждении участвовали: Анна Альчук – поэтесса, художница, критик; Светлана Айвазова – доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Института сравнительной политологии РАН; Людмила Бредихина – художественный критик, куратор; Виктор Воронков – директор Центра независимых социологических исследований (СПб.); Елена Гапова – кандидат филологических наук, доцент, директор центра гендерных исследований Европейского Гуманитарного Университета (Минск/Вильнюс); Татьяна Герасимова – научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета; Ольга Воронина – доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН, директор Московского центра гендерных исследований; Татьяна Жданова – кандидат политических наук, директор Московского представительства Фонда Дж.Д. и К.Т. Макартуров; Ирина Жеребкина¹ – доктор философских наук, профессор Харьковского национального университета, директор Харьковского центра гендерных исследований, гл. редактор журнала «Гендерные исследования»; Елена Здравомыслова – кандидат социологических наук, доцент Европейского Университета в Санкт-Петербурге, содиректор магистерской программы «Гендерные исследования» в ЕУСПб, координатор гендерных исследований в Центре независимых социологических исследований (СПб.); Людмила Кабанова – координатор программ российского филиала фонда им. Генриха Бёлля; Игорь Кон – доктор философ-

Расшифровка стенограммы – Елена Чуйкова, перевод выступления Миглены Николчиной – Ольга Пироженко.

ских наук, профессор, академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН; Елена Кочкина – кандидат политических наук, директор Института социальной и гендерной политики; Эдуард Надточий – Ph.D., профессор Университета Лозанны (Швейцария); Миглена Николчина – Ph.D., профессор Университета Софии (Болгария); Ольга Липовская – председательница Санкт-Петербургского центра гендерных проблем; Сергей Патрушев – профессор кафедры гуманитарных и социальных наук ВАВТ, заведующий отделом политической культуры и политического участия Института сравнительной политологии РАН, председатель Научного совета Российской ассоциации политической науки; Павел Романов – доктор социологических наук, профессор Саратовского государственного университета, директор Центра социальной политики и гендерных исследований, директор магистерской программы по социальному менеджменту и социальной работе Московской высшей школы социальных и экономических наук; Михаил Рыклин – ведущий научный сотрудник Института философии РАН; Людмила Попкова – кандидат исторических наук, доцент Самарского государственного университета, директор Самарского центра гендерных исследований кандидат исторических наук, Наталья Пушкарева – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН; Анна Темкина – Ph.D. in Social Sciences, декан факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, содиректор магистерской программы «Гендерные исследования» в ЕУСПб; Валерий Тишков – член-корреспондент РАН, директор Института этнологии и антропологии РАН; Галина Устинова – референт программ Фонда Дж.Д. и К.Т. Макартуров.

Татьяна Жданова. Уважаемые коллеги! Мы работали над этой встречей и над вопросами, которые хотим обсудить, очень долго, поддерживая различные проекты в области гендерных исследований в бывшем СССР. Очень приятно, что этот разговор, в котором участвуют ученые, приехавшие из разных городов и даже стран, наконец-то может состояться. Научная цель этого семинара – обсудить вопрос о том, как лучше проводить интеграцию гендерных исследований в социальные науки в России и в других постсоветских странах. То, что уже сделано, возможно, создает достаточную концептуальную основу для начала такого разговора. Ну и конечно, просто очень приятно видеть вас всех сегодня здесь!

Ирина Жеребкина. Ну что же, будем стараться придерживаться того порядка обсуждения, который был заявлен предварительно². Поэтому начинается наше сегодняшнее обсуждение *Елена Гапова*.

Елена Гапова. Да, спасибо. Я хотела бы дать своему выступлению подзаголовок «Женщины и гендерные исследования в университетах в постсоветском пространстве»³. И в нем я хотела бы попытаться ответить на вопрос, как производится гендерное знание в перспективе, которая для меня более всего связана с именем Бурдьё – перспективе власти. Другими словами, в проблеме «гендерные исследования в постсоветском пространстве» я хотела бы попытаться найти власть там, где ее присутствие реально игнорируется – 1) в системе знания, 2) в организации академии и 3) в производстве дисциплинарного знания. В этом смысле меня интересует и вопрос о (гендерных) «исследователях», а именно – о том, кто имеет право называться «исследователем», а кто – нет. И почему в этой новой сфере научного знания ставятся одни вопросы, а не другие, почему занимаются одними темами, а не другими.

Все мы знаем, что важно не только что говорится, но и кем говорится, где и для кого. И вот когда мы ставим эти вопросы, то мы попадаем в сферу других вещей – социальных явлений, диктатуры. Кроме того, это вопросы, связанные с темой «постсоветское пространство и Запад». Это также вопросы, связанные с 1) количеством и 2) политикой производства гендерных исследований.

Особенно остро вопрос о факторе власти встал для нас в Центре гендерных исследований Европейского Гуманитарного Университета (тогда еще) в Минске, когда в 1999 году мы проводили конференцию *Writing women's and gender history in countries of transition*, встал вопрос отбора текстов на эту конференцию. Нужен был критерий отбора, т.е. вопрос о том, как определить, что является текстом, который относится к сфере «гендерных исследований», а что – нет. Приходит текст, и ты не знаешь, что с ним делать. То есть все эти глобальные вопросы о гендерном знании оказались связаны с практическими вещами – как, откуда человек, который подает эту заявку, где учится, работает, знает ли английский язык и т.п. И вместе с тем в голове постоянно стоял вопрос более глобальный – а кто такие «мы» и почему «мы» имеем право осуществлять отбор и решать, какое знание является нормативным, научным, а какое должно быть отвергнуто.

Итак, каковы те основания, отталкиваясь от которых «мы» *могли решать*, что есть «мы» в принципе и что есть «гендер», и что является легитимацией нашей общности? При ответе на этот вопрос надо учитывать тот факт, что слово и понятие «гендер» было помещено в наши языки и наше сознание почти одновременно и совсем из другой реальности. И тот факт, что те люди, которые перенесли слово «гендер» в «нашу» жизнь, конечно, были женщины, которые были угнетены, но в то же время – и эта ситуация характерна для всех социальных движений – что функцию артикуляции выполняют не те люди, которым хуже всего.

Тут я сделаю небольшой экскурс в свою персональную биографию. В 1994 году я купила русский перевод книги Бетти Фридан *Загадка женственности*,

и я помню, что это был 1994 год, когда наши деньги стали бумагой, я находилась в декретном отпуске, который стоил какие-то копейки, ребенок постоянно болел. Это был абсолютный постсоветский ужас. Я знала о существовании этой книги... И моя кандидатская степень, которая у меня была, если раньше дала бы абсолютное включение в определенную группу, которая в другие времена дала бы мне безбедное существование, то сейчас эта кандидатская степень подверглась абсолютной инфляции. Казалось, что так будет всегда, что эта кандидатская никогда никому не будет нужна, а что будет нужно – никто не знает. Я купила эту книгу. Она начиналась с предисловия Ольги Ворониной. Я прочла эту первую фразу этого предисловия... С тех пор прошло 10 лет, и я ее не перечитывала... Мне кажется, что эта фраза была написана по-другому, я не очень помню, но мне кажется, что примерно так – «Когда я впервые прочла книгу “Загадка женственности” Бетти Фридан 14 лет назад...», и дальше шло предисловие. И вот на этом первом предложении я остановилась, потому что эта фраза потрясла меня до глубины души... Эта фраза потрясла меня до глубины души – то есть, представить, что кто-то уже 14 лет назад до 1994 года имел возможность читать «Загадку женственности», для меня было абсолютно непредставимым, хотя я знала английский язык, я была кандидат наук, я даже где-то в каком-то англоязычном романе прочитала, кто такая эта Бетти Фридан... Представить, что эту книгу можно было прочесть еще 14 лет назад, было абсолютно невозможно! Я хочу сказать о том, что это означает, что в той советской реальности существовали какие-то тексты, которые хорошо охранялись. Почему доступ в спецхраны охранялся? На мой взгляд, потому, что это были определенные символы определенного социального статуса людей, которые соответствовали определенным социальным возможностям, которых *не было* у других. То есть доступность определенных текстов, возможность заниматься некоторыми темами и т.д. были напрямую связаны с распределением власти. Я помню, что в тот день, когда я купила эту книгу и прочитала, в этот день я почувствовала себя более потрясенной, чем когда-либо в своей жизни. Почему я почувствовала себя такой угнетенной? Потому что я не могла прочесть ту книгу, которую мог прочесть кто-то другой. Мы все в тот момент были членами определенного социального сдвига, связанным не только с гендером, но гендер являлся его частью. И вот слово «гендер», которое появилось, объясняло все или почти все, давая название текстуре личного опыта. Ведь в это время гендер был не только новым знанием, но и тем окном в тот новый мир, в который мы вошли и через которое я лично получила возможность читать те тексты, которые ранее читать не могла. При этом понятие «гендер» означало тот социальный культурный символический капитал определенной группы людей, который можно было противопоставлять той академии (окружающей нас), в которой мы работали и которая не всегда была восприимчива к тому знанию, которое мы пытались привнести; но при этом важно и то, каким образом ген-

дер, который «мы» делали, и та политика «деланья гендерных исследований», оказались связанными с безусловной вертикальной социальной мобильностью определенной группы – не бизнес-группы, нет, не «ЮКОС», не нефть, но «другое», как пишет Бурдые, – оказавшись огромным социальным капиталом. И «гендер» дал нам возможность получать это знание.

И вот это разделение мне представляется классовым разделением, так как класс (любое классовое разделение) – это доступ к ресурсам. С одной стороны, были те, которые получили «доступ к гендеру» (и все это зависело от того, где мы живем, в больших городах или в маленьких, в каких институциях мы расположены, к этому имеет прямое отношение и то, что бывшие республики СССР стали национальными государствами. Это стало чрезвычайно важным, так как раньше пункты посольства были только в Москве, теперь уже и в Минске, в Киеве...). Но с другой стороны, оказались люди не всегда из провинциальных вузов, но чаще действительно из провинциальных вузов, у которых этих ресурсов не было и нет до сих пор, и вот этот доступ к знаниям является безусловно классовым разделением в отношении той власти, которая имела отношение к производству гендерных знаний в постсоветских условиях.

Поэтому для меня важен классовый вопрос постсоветского феминизма. Тот социальный сдвиг, который сейчас происходит в бывшем СССР – это формирование классовообразования, хотя в этом контексте лучше определять «класс» не через «массы», а через Макса Вебера – как сумму каких-то возможностей, которые имеет определенная группа людей в условиях рынка. Та причина, по которой огромное количество постсоветских и постсоциалистических женщин оказались в тех условиях, в которых они оказались, связана с формированием экономического неравенства. Когда-то был этот марксистский термин «класс», потом Советский Союз закончился, *те* социальные науки закончились, и термин «класс» стал уже бесценен, им занимаются мало, о нем мало говорят, хотя о нем в последнее время стали говорить больше. Так вот, «гендер» стал для меня той категорией, которая позволяет завуалировать то, что происходит на самом деле, и говорить о *sexual harassment*, *rape* и т.п. и закрывать глаза на то, что, как я уже сказала, происходит на самом деле. Например, я понимаю, что так называемое «сексуальное» существует во всех культурах, но на нашей части света это – побочный продукт экономического неравенства, которое формируется тогда, когда средства производства, как сказал бы Маркс, принадлежат кому-то, какому-то дяде, которому раньше они не принадлежали, т.е. понятно, что раньше они принадлежали всем или никому не принадлежали, но никогда власть вот этого дяди не была над тобой настолько полной, настолько из нее не было бы выхода, как это происходит сейчас – когда происходит то, что происходит.

Ирина Жеребкина. Есть ли вопросы к Елене?

Татьяна Герасимова. Я поняла, что гендер – это капитал, которым одни люди могут пользоваться, другие – не могут, и доступ к гендеру и знанию определяется их географическим, социальным и экономическим статусом. Понятно, что в советские времена было распределение знаний и статусов. Но как быть с тем, что в советские времена были люди, которые сидели в спецхране и читали, как мне кажется, потому, что имели смелость *выйти* за рамки какого-то предложенного стандарта?

Елена Гапова. Здесь две вещи мне хотелось бы отметить. Первая – это то, что академия вообще не организована таким образом, чтобы как-то трансформировать своих членов на производство какого-то другого знания или знания каким-то другим образом. Вторая – что тот социальный процесс, который сейчас происходит у нас, он абсолютно противоположен тому процессу, который происходил в Америке и на Западе в начале 70-х, когда гендер появился как исследовательская область. У «них» процесс был связан с демократизацией или, другими словами, допущением определенных групп людей в поле выражения и поле ресурса. Просто у «них» наступил такой момент в обществе, когда надо было каких-то людей – вот женщин каких-то (не всех женщин, но каких-то, цветных, но не всех цветных и т.п.) пустить в это поле. «Наш» процесс, который сейчас происходит, это процесс наоборот – отклонения определенных групп из каких-то полей, то есть это процесс формирования неравенства, связанный с вытеснением определенных людей из поля речи. И для меня это прежде всего процесс экономический.

Светлана Айвазова. А что нам в таком контексте дает методология гендерных исследований?

Елена Гапова. Для меня это вопрос о том, каким образом люди видят распределение власти. Или же они не трогают власть вообще. В этом смысле примером для меня является книга Ивановой «Храбрейшие из прекрасных» о русских женщинах-воительницах. Патриархатная, империалистическая книга, в которой никаким образом не раскрывается картина властных отношений...

Татьяна Герасимова. Вот именно этот вопрос о власти и был моим вопросом. Мне показалось, что в вашем выступлении как раз и не раскрывается логически сам принцип политики распределения власти как в советский, так и в постсоветский период.

Елена Гапова. Для меня вопрос о власти – это «глобальный капитализм все перетрет»...

Ирина Жеребкина. У меня есть предложение «подвесить» пока вопрос о гендерных исследованиях и вопрос о власти и двигаться дальше: ведь потом мы все равно будем к нему возвращаться.

Елена Здравомыслова. Я все-таки еще хочу задать вопрос Елене Гаповой. Лена, сформулируй, пожалуйста, если можно – только коротко – основную мысль, которую ты хочешь до нас донести из того многого, что ты сейчас сказала: чтобы мы, действительно, могли работать с этим дальше.

Елена Гапова. Я хочу повторить две вещи. Первое, что вот наши гендерные исследования – это и культурологические, визуальные и другие новые области – это, собственно, тоже есть классовая борьба в том смысле, кто и что говорит, откуда ресурсы, как это делается и т.д. И вторая вещь – природа того социального неравенства, которое, на мой взгляд, важнее всего сейчас в постсоветском пространстве. Для меня сейчас это – классовое неравенство, формирование экономического неравенства, которое «тянет» за собой все остальное. То есть сначала класс, а потом все остальное; и вот эти гендерные вещи – маскулинность, женственность – касаются именно классовобразования.

Ирина Жеребкина. Есть еще вопросы к Елене? Нет? Тогда следующее выступление – *Ольга Воронина*.

Ольга Воронина. Я не претендую на то, чтобы делать концептуальный доклад, такой задачи у меня не было. Я хочу просто с вами поделиться некоторыми своими соображениями⁴.

Мне показалась очень интересной гендерная дискуссия, которая была в прошлом году в Твери⁵. Почему-то общепризнано в литературе – а также эта точка зрения была представлена и на этой тверской дискуссии – что гендерные исследования пришли с Запада, что они не выросли на отечественной социальной и интеллектуальной почве, а были просто привнесены оттуда. На мой взгляд, действительно, гендерные исследования, с одной стороны, не выросли на нашей почве, так как таковой просто не существовало. С другой стороны, вопрос о насильственном привнесении гендерных исследований западными фондами (как это принято, как оказалось, писать в нашей среде), представляется мне спорным. На мой взгляд, гендерные исследования, гендерная тематика, гендерный подход – как угодно это можно называть, термин у нас еще не определен – они проросли в нашей собственной среде. Но проросли через книги. Действительно, как упомянула Елена Гапова, лично я читала западную феминистскую литературу в наших библиотеках – в библиотеке ИНИОН, в Ленинке: там, как ни странно, фонд замечательно был укомплектован литературой по феминизму. Но этот факт для меня одновременно значит, что гендерные иссле-

дования здесь *проросли через людей* и что существовала определенная склонность восприятия гендерных идей, хотя идеи эти проросли в очень враждебной среде.

И причина этого очевидна. В России люди живут вне правового пространства, это очевидно. И это не случайно, и власть это знает, все знают. Например, что дело Ходорковского делается внеправовыми методами, что мэр Лужков, который в ситуации ограничения рекламы пива фактически своей мэрской властью делает рекламу немецкого пива и т.д. В то время как западный феминизм возник на интеллектуальной волне прав человека, взяв от нее гуманистический пафос и продолжив его дело. И западное академическое сообщество приняло эту идею в отличие от нашего, которое никогда, по крайней мере на нашем этапе жизни, не примет таких идей. Меня совершенно потрясло признание Галины Ивановны Зверевой, профессора МГУ в этой же комнате на семинаре, который мы проводили год назад – ну не признание, а такое замечание очень грамотное. Она рассказывала об академической и университетской среде и с удивлением отметила, что многие ученые-обществоведы вот сейчас в свои 60-70 лет, заслуженные профессора, ректоры, деканы и т.д., преподающие какие-то социальные науки, только сейчас вдруг начинают знакомиться (они не знали языка и не могли читать) в переводах с Фрейдом, Маркузе, не говоря уже о постмодернистах. Другими словами, у них просто отсутствует определенный профессиональный багаж не только в сфере гендера, но и вообще общетеоретический. Этих примеров очень много – это и МГУ, и РГГУ ...

Я сейчас попытаюсь кратко ответить на следующий вопрос – значит ли это, что западная гендерная теория, методология чужда России? В той тверской дискуссии посвящено очень много времени этому вопросу – чужда или нет России гендерная теория, нужно или не нужно. Все рассуждения о нужности или ненужности представляются мне политически ангажированными, возникает другой вопрос – о трудностях в терминологии. И, конечно, всегда хорошо заменять иностранные слова своими родными, но и здесь коллизия «мы-они» представляется мне надуманной, потому что многие науки используют западную терминологию, и обычно это мало кого волнует. А вот то, что с новыми словами приходят и новые понятия, нагруженные иными мировоззренческими ценностями, и именно в этом состоит их опасность, наши академические и политические круги хорошо чувствуют.

Теперь о феминизме в России – тезисно. Феминизм, на мой взгляд, может быть реализован только как личный проект, а развитие «русских феминистских исследований» (на чем, например, настаивает Наталья Блохина в тверской дискуссии), или «русского феминистского движения» мне представляется невозможным в ближайшее время. Прежде всего из-за глубокой архаичности русской культуры, в которой базовым основанием самоидентификации мужчины и женщины выступает пол, а женственность, как всем известно, это «исконно

русская ценность». С другой стороны, совсем отрицать феминизм невозможно на уровне массового сознания – где его представляет и маркирует феминизм в дискурсе Маши Арбатовой. И никаких других феминисток не существует в публичном пространстве – но именно потому, что Маша заняла это пространство. Она это сделала не случайно, и говорит с экрана именно то, что делает феминизм неприемлемым для большинства обычных женщин – она агрессивна, она развязна, она много говорит о сексе. Я говорю в этом смысле о ней не как о человеке, а как о политической фигуре – и только.

То есть можно сказать, что запрет на феминизм в России – это политический жест.

Теперь тезисно о «достижениях и проблемах». Вопрос сложный, если учитывать, что научные исследования практически не финансируются российской стороной, а те исследования, которые финансируются не фондами, поддерживающими академическую науку, а так называемыми «международными организациями», иначе как конъюнктурными не назовешь. Но в то же время, если в таких условиях за 10 лет сформировались по крайней мере три школы в нашем пространстве – это школа Е. Здравомысловой и А. Темкиной с ее очевидной социологическо-исследовательской ориентацией, это школа ХЦГИ с ее тоже очевидной гуманитарной направленностью и это школа МЦГИ с ее, я бы сказала, направленностью на анализ социально-политических, социально-экономических гендерных проблем в России... Может быть, я не вижу еще чего-то, но товарищи, коллеги меня поправят... Проблемой и неуспехом этих школ я бы назвала излишний академизм. Не в том смысле, что я против академизма вообще, чтобы мы занялись только исключительно практическими вещами, нет. Но совершенно очевидна непопулярность тем, связанных с анализом реальных проблем современной России. Меня это сильно беспокоит. Еще одна проблема неуспеха – самоизоляция от работы с властью. По моему личному 10-летнему опыту такой работы я знаю, насколько это действует фрустрирующе. Это знают присутствующие здесь Елена Кочкина, Светлана Айвазова, но тем не менее делать это надо.

Заканчивая тему, я хочу вернуться к названию своей статьи⁶, провокативно так названной, чтобы обострить. Итак, что делать? Я не вижу перспектив серьезной институализации гендерных исследований на наших постсоветских пространствах. Я не вижу перспектив для конструктивного диалога с властью. Я не вижу возможности влияния на политическую ситуацию столь малочисленными силами, которые представлены здесь – при отсутствии женского движения, при отсутствии в общем-то достаточно развитой феминистской теории собственной. Но рецепт простой – посади и ухаживай 300 лет, как за английским газоном. Я 300 лет, конечно, не проживу. Но я по оптимистическому настроению думаю, что я лично буду продолжать сажать этот газон.

Елена Гапова. Если можно так поставить вопрос – вы начали с Запада, для которого органична идея прав человека, там есть гендерные исследования, было феминистское движение. Я понимаю, что мой вопрос звучит странно, но так он сложился у меня в голове – вам кажется, что *там* гендерного равенства больше, или *там* лучше?.. Вот как вы считаете?

Ольга Воронина. В некоторых странах больше, в некоторых меньше. В свое время меня поразило высказывание одной американки, которая сказала, что существует разница в дискриминации: например, между дискриминацией, когда женщин убивают в утробе матери, сделав УЗИ, и дискриминацией, когда женщины слабо представлены в ЦК КПСС. Вот есть некоторая разница в степени, но даже не об этом надо печься. Я даже не говорю о гендерном равенстве, а о том, что идея прав человека вообще сейчас не популярна в России. Но мне кажется, что эти семена живут. Я в своей статье такую метафору использовала – цветок прорастает сквозь асфальт. Здесь нет, на мой взгляд, какой-то адекватной интеллектуальной почвы для того, чтобы эти идеи, теории были хотя бы признаны, приняты, не вызывали бесконечного отторжения, с чем мы все постоянно сталкиваемся...

Елена Гапова. Я сейчас скажу о своем опыте. Я в последние 7 лет (жизнь сложилась так) живу в Америке больше, чем в Минске. И каковы гендерные исследования в Америке, сколько их, какого качества, мы прекрасно знаем. В этом отношении бывают даже блестящие – Джоан Скотт, Джудит Батлер и т.д. Но ведь гендерное неравенство там, на мой взгляд, настолько всеобъемлющее, настолько ужасно, настолько нетронуто, что *нам и не снилось*. И именно с этой точки зрения, именно глядя на *ту* реальность, я еще больше стала думать, что гендер – это такая вообще удобная вуаль, которая существует для того, чтобы не деконструировать те институты присвоения ресурсов и т.д., которые сложились и существуют.

Ольга Воронина. Почему вы думаете, что нельзя деконструировать? Мы же все здесь это делаем.

Елена Гапова. Я не знаю, как сложилось в Западной Европе, может, там получше. Но когда я смотрю на американскую действительность, мне кажется, что их дискриминация абсолютно нетронута. То есть существует весь этот «вопль», что права женщин нарушены и т.д., и статьи, тесты, и муссирование истории Клинтона, всего этого много. Но гендерное неравенство, которое там есть настолько «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайй...», что это представить страшно. Более того, оно существует за счет эксплуатации третьего мира. Вот мои знакомые (не могу сказать, что все) – феминистки, профессо-

ра университетов, чрезвычайно левые – у всех дом убирают «бразильянты». И если эти «бразильянты» не будут убирать, то ...я не знаю...

Ирина Жеребкина. Может быть, надо определиться, если можно: мы сейчас говорим про «нас» или про «Запад»?

Елена Кочкина. У меня вопрос к Ольге Ворониной и про «нас». Какой настрой был в 90-е годы и какой сейчас? Как вы тогда, когда начинали, видели будущее гендерных исследований в наших странах?

Ольга Воронина. Это вообще другой период был, другое политическое время. Это был период эйфории, каких-то трансформаций, какого-то нового открытого будущего, тогда был совершенно невероятный социальный активизм. Я ходила по бесконечным группам. Тогда люди собирались в группы, и было непонятно, чего они хотят, но они хотели чего-то нового. Они сами не могли это сформулировать, но они не могли сидеть дома, были какие-то столкновения, бесконечные дискуссии. Дома собирались, на улице. Это совсем другое время было. В 91 году, когда мы проводили Форум⁷, в это же время отменяли 6-ю статью Конституции о руководящей роли КПСС, и казалось, что открываются немыслимые просторы. Кстати сказать, в этой ситуации появляется гнусная статья о первом Форуме, что собираются феминистки, геи и лесбиянки в Дубне, и Форум чуть не запретили. Вот Ольга Липовская должна это прекрасно помнить... В Москве вводили санкции, потому что боялись возмущений народных из-за отмены этой статьи Конституции, и тем не менее Форум запрещают. Но был этот драйв...

Михаил Рыклин. У меня вопрос связи с противопоставлением западного ареала и «нашей бедной» страны. Мне кажется, ситуация сейчас в России сложнее, чем в советский период. Если бы это было не так, то зачем тогда нынешним властям было бы так упорно бороться за каждый телеканал, за каждую газету, перекупать их. Если перечитать наше законодательство, то мы увидим, что оно сейчас мало чем отличается от европейских законодательств. Но один из самых одиозных политических процессов последних лет – процесс против Сахаровского центра – и сколько сил прокуратуры затрачено... Мне кажется, что такое глобальное противопоставление, может быть, для советского периода имеет гораздо больше смысла. Тогда были статьи – такие как 60-ая – «анти-советская агитация и пропаганда», 190-ая – «распространение слухов, порочащих советский...». Сейчас ничего подобного нет – мы живем в правовом как бы поле, очень похожем на западное поле. Поэтому сложно учитывать стратегии по подрыву, поскольку проводятся массированные и серьезные операции, продуманные на этом поле. Если бы все было так просто, то это действительно

напоминало бы советскую ситуацию. Сейчас ситуация кажется мне более сложной. Ситуация, конечно, отличается от западной, но такое глобальное противопоставление, что вот права человека оканчиваются на этой границе – оно, на мой взгляд, преувеличено и пессимистично.

Ольга Воронина. Я понимаю, что я так вот грубо связала эти темы, но на самом деле я говорила не о законодательстве, а о сознании людей. Ведь если посмотреть на содержание жалоб наших людей в суды, то оказывается, что они находятся вне правового поля, и человек, доведенный до отчаяния, обращается в какую-то международную организацию... У нас нет ощущения собственного достоинства, которое может стать движущей силой принятия гендерного законодательства.

Анна Темкина. Есть ли, на твой взгляд, культурные факторы, которые способствуют возникновению гендерного сознания? Или, наоборот, в научном сообществе нет таких факторов?

Ольга Воронина. Для того чтобы научное направление развивалось, нужна поддержка, нужно несколько разных факторов – поддержка финансовая, интеллектуальная, непрепятствование созданию каких-то структур. Практически ничего с нашей стороны, с российской, я не вижу. При Академии наук я пытаюсь в течение 15 лет ввести это направление на полных основаниях в структуру Академии. И это невозможно. Надо, не надо – это следующий вопрос. Институционализация женских, гендерных исследований, диссертационные Советы – все это амбивалентные вещи, отношение к этому разное, но и это, тем не менее, пока невозможно.

Мы говорим про геттоизацию гендерных исследований, очень много боли в тверской дискуссии об этом. Но мы сами себя не геттоизируем: это нас загоняют в это гетто.

Ирина Жеребкина. А пробовали ли вы организовывать диалог?

Ольга Воронина. Вы понимаете, я систематически приглашаю сюда людей, журналистов... Противодействие очень сильное.

Эдуард Надточий. Вы говорите о невозможности инкорпорировать гендерное знание в постсоветскую Академию. В этой связи вы говорите о феминистской западной мысли. Различаете ли вы западную мысль, американскую традицию, где, собственно, и существуют феминистские исследования, и европейскую феминистскую традицию?

Ольга Воронина. Это такой мой – придется использовать это слово – стратегический прием, моя стратегия сказать об этом через обострение: чтобы стала *очевидней* ситуация в России. И для меня пока на данный момент не существует иного способа сказать об этом иначе.

Вот посмотрите, пожалуйста, на нас на всех здесь – возможно ли считать включение наших исследований в структуру академии достигнутым легитимным фактом? Мы вне игры...

Татьяна Герасимова. В Петербургском Университете – 8 курсов по гендерным исследованиям, включая теорию феминизма, например.

Ольга Воронина. В Петербургском – да, а в Московском – нет, в Самарском – нет, Нижегородском – нет. И тогда – это капля в море по сравнению с тем, что есть.

Эдуард Надточий. Возможно, в России нужны другие, антипросветительские гендерные исследования?

Ольга Воронина. Вы абсолютно правы, я просветитель. Возможно, нужна другая стратегия, но я ее не могу использовать. Для меня просветительство является революционной стратегией, так как она включает изменение сознания.

Татьяна Герасимова. Существует ли для тебя разница между двумя понятиями – «гендерное исследование» и «гендерный анализ»? И если существует, то в чем?

Ольга Воронина. Да, на мой взгляд, существует. Гендерные исследования – это некоторое академическое направление, гендерный анализ – это более политически направленные вещи, т.е. это анализ не столько каких-то практических вещей, сколько, скорее, даже законодательных актов, правовых документов и какой-то государственной политики.

Татьяна Герасимова. В чем стратегия того и другого?

Ольга Воронина. Мне, хотя я его и использовала, не нравится слово «стратегия» в гендерных исследованиях. «Стратегия», мне кажется, это гораздо более жесткое слово, чем то, чем являются гендерные исследования.

Татьяна Герасимова. А английский газон – это стратегия?

Ольга Воронина. «Английский газон» – это метафора, просто метафора.

Елена Здравомыслова. У меня комментарий по поводу того, что сказала Ольга Воронина. У нас мало корпоративной этики – мало корпоративной этики в науке вообще и в социальной науке, особенно в последние 5 лет. Вначале – да, социалистическая, идеологизированная, мобилизованная академическим любопытством корпоративная этика была. Прошло 15 лет – это целое поколение. («Это 3 поколения!» – реплика Т. Герасимовой.) Получается, что сейчас – просто другая фаза развития гендерных исследований в постсоветском пространстве.

Второе – плагиат и Интернет. Новые технологии знаний, новые технологии обучений – и плагиат.

И третье – ну как же ты говоришь, что нет перспектив для гендерных исследований, если это научное направление существует целых 15 лет? Выросли дети, печатали книги, закончился целый цикл биологической жизни, помните, какие мы были молодые 15 лет назад: я не могу выкидывать Конституцию в канализацию только потому, что она устарела. И последний момент – когда я услышала этот пессимистический тон, и это говорит такой авторитет!.. На мой взгляд, нужно говорить о проблемах, но нужно продолжать говорить о стратегиях развития.

Ольга Воронина. Понимаешь, Лен, мы можем или не можем так говорить, я сказала, что у меня *сегодня* такая «стратегия», я хочу, может быть, поделиться своими чувствами, как никогда этого не делала. Некоторые мои коллеги говорят, что я бесконечно устраиваю дистанцию между собой и своими коллегами, и сегодня я решила ее порвать. Мне немножко надоел этот искусственный оптимизм – да, вот у нас есть! Да, конечно, есть. А что будет с вашим Университетом, если уйдут западные фонды, что будет со многими из нас? Мы бьемся и не можем получить поддержки российской. Но дело даже не в этом. Мы не получаем поддержки политических структур, с которыми по видимости замечательно работаем. Они очень милы, но они пальцем не ударили, чтобы помочь институализации этого направления. И когда я говорю, что институционализация проблематична, это еще и потому, что нет молодежи. Она/он получает у нас гендерное образование и не знает, где его применить, они/молодежь хотели бы преподавать гендерные исследования здесь, но у них часто место – только на Западе. Вот те люди, которые к нам в Москву приезжают или по Интернет-школе обучаются, они могут включать гендерные темы в свои региональные курсы. Но вот человек, который закончил Европейский Гуманитарный Университет, Европейский университет в Санкт-Петербурге, то есть получил именно гендерную специализацию – они могут пойти преподавать именно гендерные курсы?

Елена Гапова. Вне нашего центра – нет.

Елена Здравомыслова. Зачем? Даже то, что они получили это образование – это уже не мало.

Ольга Воронина. Я понимаю. Это просветительство, я знаю. Но сообщество должно воспроизводиться, и знание должно приращиваться новыми людьми со своими точками зрения. И этого нет. И это беда.

Ирина Жеребкина. Мы сейчас говорили много о личном в связи с гендером, и это очень ценно и так неплохо получается. Но перед выступлением *Михаила Рыклина* я хотела бы напомнить о том, что в связи с гендерными параметрами имеет отношение не только к личному. Мне все-таки кажется, что нельзя забывать, что отличие советской ситуации от постсоветской состоит и в том, что сейчас производится (и становится товаром) именно гендерный, не бесполой субъект. И тогда мы – конечно, лично – участвуем в этой современной социальной трансформации, но при условии, что она гендерно маркирована независимо от того, признаем ли мы лично гендерные маркировки происходящих процессов или нет.

Михаил Рыклин. Эти различия между советским и постсоветским, которые и я постоянно продумываю. Но гендерное движение и его интенции не рисуются мне в грозном свете. (*Смех в зале.*) Может, в моем выступлении не совсем понятно, какое это имеет отношение к гендерной проблематике: мои тезисы – «*Сумерки Просвещения, или российское политическое воображаемое*» – скорее, в целом про современную ситуацию, но, может, они пригодятся и для гендерных исследователей. Итак,

1) В последние годы Россия переживает бум ретродискурсов, дискурсов, ориентированных на прошлое и в то же время претендующих указывать путь в будущее.

Предмет их более или менее постоянный – критика Просвещения и того, что, как кажется авторам подобных концепций, из него вытекает, является его новейшим ответвлением: постмодерна.

Приведу как пример типичный зачин такого рода текстов. Его авторы предлагают неким государственным структурам свою концепцию Новейшего Средневековья: «Проводимая в контексте “Новейшего Средневековья” религиозная политика государства требует решительного разрыва со многими предрассудками Просвещения и Постмодерна». Как видим, текст написан не для читателя, тем более не для себя, а для инстанций, которые определяют политику государства, для неких правителей, принимающих решения.

В чем же авторы видят предрассудки Просвещения и постмодерна?

Во-первых, в том, что они опираются на линейное представление об историческом времени, и это приводит к ложному убеждению, что человек управляет своей жизнью и историческим процессом. Этого ложному представлению предлагается противопоставить истинное представление о чуде и «агио-политику Православия», т.е. воздействие святых и священных предметов на ход истории.

Во-вторых, надо противопоставить просвещенческому идеалу комфорта религиозный идеал спасения.

В-третьих, надо исповедовать православную трудовую этику, отличную от протестантской.

Короче, речь идет о радикальном преобразовании всей современной культуры на основе православия, о «симфонии» Церкви и Государства в византийском стиле. В этом не было бы ничего предосудительного, если бы текст выражал точку зрения авторов или стремился убедить в ней читателя. Но дискурсивный и институциональный статус этого текста и ему подобных совершенно иной: он прямо, через голову читателя, апеллирует к властям предрержащим с предложением изменить всю культурную политику. Об этой интенции свидетельствует, например, следующий пассаж: «Если Церковь может предоставить Государству прежде всего сакральную легитимность, то государственная поддержка Церкви должна быть ориентирована не только и не столько на удовлетворение ее материальных нужд или формального общественного статуса, сколько на создание нового идеологического баланса в сфере медиа, образования и интеллектуальной жизни. Прежде всего, это предполагает высокую степень «теологизации» большинства идейных и социальных тем, в частности, ниш, традиционно занимаемых представителями прежних идеологических парадигм – права человека, социальное неравенство, культурные и национальные вопросы».

Здесь возникает вопрос: в каком отношении предлагаемые преобразования стоят к существующему законодательству? В какой мере «теологизация» культуры и «создание нового идеологического баланса» совместимы с признанными законом правами социальных, религиозных, сексуальных, культурных и других меньшинств?

2) За последние годы в России возникла новая профессия, это – политтехнология. Ее можно определить как непрерывный эксперимент по вымыванию из закона правовой субстанции, замене ее сюиминутными, прагматически выгодными конструкциями. Искусство политтехнологов состоит в том, чтобы обесмысливать закон изнутри, оставляя его букву нетронутой. Вроде бы он есть, и в то же время прибегнуть к нему нельзя: потому что создан «новый идеологический баланс». В него в числе прочего входят «духовная безопасность», «государствообразующая религия», «титутельная нация». Никто не знает, как примирить существование подобных конструкций с гарантированными законом правами разных групп граждан.

Недавно я слышал, как в телепрограмме «Культурная революция» Глеб Павловский, один из отцов-основателей политтехнологии, вполне серьезно предлагал вернуться к «Домострою». И так, «Домострой», «Новейшее Средневековье», «Евразийский проект» – выбор, прямо скажем, невелик. Все эти проекты объединяет ретроориентация и подчеркивание особой роли Русской православной церкви (РПЦ) в духовной жизни страны. Рассуждая о пользе «Домостроя» для нашего времени, Павловский заявил, что женщинам лучше вообще не работать, сидеть дома, воспитывать детей, готовить еду и т.д. Они сами якобы об этом только и мечтают, не говоря уж об их вполне состоятельных мужьях. Бредовое ядро этой политтехнологической конструкции – это среднестатистический состоятельный российский мужчина, который зарабатывает достаточно денег и не хочет, чтобы его жена работала; а она работает ему назло и отнимает рабочие места у мужчин. Репрессивность этой конструкции очевидна: такого среднестатистического мужчины в России нет. О миллионах же российских женщин, которые работают вовсе не от нечего делать, а чтобы прокормить свои семьи (причем часто их заработок является основным), он вообще не упомянул. А что уж говорить о миллионах других женщин, которые воспитывают детей без мужей – им места в новейшем «Домострое» г-на Павловского вообще не нашлось. Такой «патологии» он не предусмотрел.

Как проект «духовной безопасности» сплошь и рядом оборачивается против легальных проявлений секулярной культуры, так и родственный ему проект «Домостроя», возможно, является лишь рационализацией того обстоятельства, что при грядущем сокращении рынка медицины, образования и культуры в жертву будут принесены работающие в этих сферах женщины (как якобы работающие в свое удовольствие), их рабочие места.

Политтехнологи производят свой продукт, как правило, по заказу исполнительной власти, но социальные последствия того, что они проповедуют, и даже сама реализуемость этих предложений их странным образом не интересует. Получается, что они просто запугивают людей от имени опирающегося на силовые структуры государства.

3) В духе времени звучит и приговор в деле против Сахаровского центра. Это часть грандиозного проекта «Русь Православная». В приговоре доминирует образ тотально православного народа, готового всеми средствами защищать себя от «богохульства» и «кошунства», к которым приравнены обычные проявления светской, секулярной культуры. Как в проекте «Домостроя» отсутствует среднестатистический состоятельный господин, так в проекте «Руси Православной» недостает основной массы верующего народа («воцерковленных» в России от 2 до 4%).

Вполне вероятно, что создатели идеологических проектов сознают их фиктивную природу даже больше, чем их советские предшественники. Реальная задача таких проектов не в том, чтобы отражать фактическое положение

дел, а в том, чтобы, опираясь на фанатизм относительно немногочисленных, но агрессивных групп граждан, подводя под него теоретический фундамент, устрашать пассивное большинство, делать его раздробленным и безвольным. Политтехнолог подстраивается под востребованную в данный момент репрессивную фикцию и затем продает ее государственным или иным структурам как свой продукт. По сути продукт этот – наш собственный страх, неуверенность в наличии у нас защищенных законом прав. Представители новой профессии превращают эту особенность нашего бессознательного в свой бренд.

4) В перечисленных проектах нет места для Другого, для диалога с ним; они обладают свойством параноидальной связности, сверхсвязности, не терпящей вторжения аллогенных элементов. Но надо быть близоруким, чтобы не видеть, что Другой никуда не исчезает. Его невозможно уничтожить по той простой причине, что именно он, Другой, лежит в основе тотальных идеологических конструкций вроде «Домостроя» или «Новейшего Средневековья». Эти конструкты являются функцией того Другого, которого они вытесняют. Стремясь соответствовать ожиданиям заказчика, политтехнологическое мышление, ориентированное на простейший вид соблазна (продажу), не выполняет основного императива любого мышления: оставаться свободным при любых обстоятельствах. В этом политтехнологи и их заказчики повторяют ошибку аналогичных фигур советского периода.

5) Наиболее правоверные в недавнем прошлом элементы советского общества часто оказываются наиболее страстными приверженцами религиозного фундаментализма. Те же, кто в советские времена, подобно правозащитникам, боролся за свободу вероисповедания, и сейчас не скрывают своего скептицизма или агностицизма, безапелляционно объявляются врагами православия и русского народа. Таким образом, меняется содержание репрессии, но не ее структура. Выражаясь более точно, содержание меняется с атеистического на квазирелигиозное именно для того, чтобы сохранить в неприкосновенности само право на репрессию.

6) Противостояние между представителями светской культуры и православными интегритами в деле Сахаровского центра продолжалось более двух лет; тем не менее, за это время не возникло ни консенсуса, ни даже диалога. Противники светской культуры, современного искусства и правозащиты рассчитывали на силовое решение в свою пользу. В их распоряжении не оказалось главного средства ведения диалога – современного артикулированного языка, орудия вменяемого обмена мнениями. Слова типа «кощунство», «русофобия», «святотатство», «жиды» для целей обсуждения не годятся, более того, их не предполагают; это словарь людей, которым и так все ясно, предназначенный для внутреннего употребления. Европейская же культура – это, как говорил Мераб Мамардашвили, агора, сложная условность, напряженное пространство беседы. Это место, где стараются понять другого, а не утратить его силой своего пафоса.

Нагнетание пафоса нужно гонителям светской культуры прежде всего для того, чтобы испугать потенциального спрашивающего, заставить его отказаться от вопроса.

Давно в России не было процесса, сравнимого по культурным последствиям с делом Сахаровского центра. Не успел еще закончиться этот процесс, а под обстрелом православных интегралов оказались балет «Распутин», опера «Дети Розенталя» по либретто Владимира Сорокина, выставка «Россия-2». В провинции уже сейчас требуют привлечь к суду за издание эротических стихов Лермонтова и Козьмы Пруткина; пишутся доносы на ученых, стоящих за введение в школах курсов полового воспитания, защищающих научное мировоззрение и идеалы гуманизма.

Неверно увещивать церковников и их сторонников словами: «Как же вы благословляете войну, а осуждаете выставку современного искусства?» Куда правильнее будет установить между этими событиями логическое отношение импlications. Именно потому, что война благословляется, преследованию подвергаются выставки, балеты, оперы и книги. Искусственные «смысловые» преступления синтезируются при поддержке государства там, где обычные, всем известные преступления не только не называются своими именами, но прославляются как подвиги, проявления любви к Родине и религиозного служения.

7) Проект Просвещения был направлен не против евангельского христианства, а против его извращения нетерпимостью, фанатизмом и суеверием. Этот проект лежит в основе современных секулярных, правовых государств; атака на него равносильна разрушению их оснований. Правовые государства не признают и не предусматривают особых прав для религиозного и национального большинства. Как показывает опыт 20 века, защита прав большинства общества чревата эксцессами фашистского типа.

8) Не имеет значения, какие именно цели дискредитируются brutальными, насильственными методами воплощения их в жизнь – идея светлого будущего (построения рая на земле), идея царства Божия или национальная идея. Насилие обладает собственной логикой, которая намного древнее любого из этих идеалов и которая через них воплощает саму себя. С помощью силы навязывается только сила, а не фиговый листок идеи, которым ее пытаются прикрыть. Так что не надо дожидаться, удастся реализовать идеал или нет – поражение уже состоялось, когда ради идеала стали преследовать объявленных врагами людей. Разница лишь в сроках жизни идей и в их исторических последствиях. Идея построения коммунизма сплавляла советских людей на протяжении трех поколений и, как казалось многим, открывала значимую историческую перспективу, в то время как национализм, начертанный на своих хоругвах имя Христа, подобной перспективы, похоже, не открывает.

9) После эксцессов атеистического советского периода, когда с религией боролись сначала полувоенными, а потом дисциплинарными методами, маят-

ник качнулся в другую сторону: теперь уже светская культура преследуется как антигосударственная идеология. Неудивительно и то, что методы остались во многом прежними: среди новых ревнителей религиозного благочестия преобладают вчерашние коммунисты.

10) Обслуживающие власть интеллектуалы внутренне ожесточаются, мучаются среди красных флажков табуированных тем и пропагандистских сюжетов, которые трудно развивать, сохраняя самоуважение. С тем большей яростью набрасываются они на попавшие в немилость меньшинства (сексуальные, национальные, культурные). Психолог усмотрел бы в этом бессознательный протест против бесчеловечных условий их интеллектуального труда. Заказчики как бы кормят огрубевших исполнителей своей воли телом культуры, причем зачастую ее наиболее конвертируемыми, «филейными» частями. Неслучайно в разгоряченном воображении новых пропагандистов так часто всплывает проблема западных грантов, ради которых их жертвы якобы готовы на все.

Между тем на Западе, как правило, покупают все-таки продукт труда, а не человека со всеми его потрохами.

Татьяна Герасимова. У меня вопрос к трем докладам один – есть ли разница в ваших апелляциях между правом и правами человека, между законодательством и правом человека, между философией прав человека и законодательством? И если нет в российском законодательстве этих прав, то почему?

Михаил Рыклин. Проект Просвещение, как вы понимаете, родился из критики религиозно фанатизма. Критика религиозного фанатизма лежит в основе прав человека. Если мы разжигаем религиозный фанатизм, то ни о каких правах человека речи быть не может. Нет диалога: есть ситуация, когда силой хотят доказать свое право: что мы являемся государствообразующими, мы – титульная нация, а остальные – потеснитесь. Второе – апелляция к международному законодательству даже для самых противозаконных действий абсолютно необходима. Апеллируют не только адвокаты, но апеллируют и прокуроры. Какое-то правовое поле существует. В советские времена этого не было. Это другая ситуация, и они действуют более тонко. Это понимает и президент, и это поле нельзя сместить пока. Пока нельзя.

Светлана Айвазова. В том, что говорили докладчики, как мне кажется, отсутствовала апелляция к реальной жизни людей. В то время как мы говорим, что нет никакого социального поля для феминистского проекта, большинство женщин живут в этой реальности абсолютно по феминистским проектам.

Второе, власть нельзя представлять как однородную. Если власть апеллирует к международному законодательству, если у нее возникает необходимость

говорить о ценностях демократии... Здесь необходима дифференциация, которую мы обязаны учитывать.

Елена Гапова. У меня сложное отношение к правам человека. В том, что я говорила, я ни одного раза не употребляла выражение «права человека». В качестве реакции на то, что говорил Михаил, я могу сказать, что там, где существуют права человека, есть какая-то элита, а есть – контрэлита. И когда одна элита делает там что-то «плохое», то та вторая контрэлита достаточно сильна, чтобы не дать этой первой что-то делать и засчет этого, может быть, самой потом попасть во власть. Для меня главная возможность – выращивание этих сил, контрэлит.

А что касается, Светлана, того, что живут по феминистскому проекту, то у Джоан Скотт есть по этому поводу хорошая статья о том, что существует большая разница между тем, когда выходят на улицы, работают или что-то делают, и тем, когда живут с «феминистским сознанием». И тогда это другая жизнь женского движения.

Татьяна Герасимова. Но, насколько я поняла Светлану, женщины, которые живут по-феминистски, и есть те, кто «выходят на улицы, работают или что-то делают», но у них аллергия на слово феминизм и тем более на «феминистское сознание».

Анна Альчук. В этом контексте я хотела бы рассказать, как – неожиданно для самой себя, в процессе суда против трех человек (в том числе меня самой) в связи с выставкой «Осторожно, религия!» и погромами в Сахаровском центре – столкнулась с женской агрессивностью и вот сделала попытку как-то структурировать этот феномен⁸. Понятно, что когда известный священник по телевизору говорит, что погром – это дело «настоящих мужчин» и что в 20 веке происходит «дискредитация настоящих мужчин», и что только православие апеллирует «идеалами справедливости», которые якобы связаны с понятием «настоящего мужчины», мы как гендерные критики маркируем эти высказывания как сочетание грубого сексизма с абсолютно неправовым мышлением.

Но я хочу сказать именно о *женском* участии в этих мероприятиях. За то время, когда шло следствие, я ознакомилась с 16-ю томами дела, перебивала на 30 судебных заседаниях, прочитала огромное количество публикаций по этому делу. И надо сказать, что в связи с вышеизложенными событиями мой внутренний мир подвергся суровому испытанию.

Например, я обнаружила, что абсолютное большинство писем, входившее в 11 томов дела № 1446, т.е. дела об иске, составляли письма, написанные женщинами: в процентном отношении их было приблизительно *три четверти* от числа всех написанных доносов. В размноженных на ксероксе текстах

говорилось о том – и я это цитирую – что «радость от установившихся покоя и порядка в нашей столице от установления православных традиций вследствие хулиганской выходки экстремистов была омрачена большими психологическими и нравственными страданиями. Граждане претерпели и продолжают претерпевать поборы и унижения. Тяжесть переживаний не дает им покоя...». Под этими текстами женщины ставили свои подписи, даже не меняя мужского рода слова «гражданин». Например, «гражданин Купечная Елена Вячеславовна Московской области, гражданин Никичук Наталья Михайловна» и т.д. и т.п.

При этом женщины определяют свою позицию как позицию матерей. Не видя выставку, не представляя себе, что такое современное искусство, возможно, столкнувшись с этим словосочетанием впервые в жизни, они в то же время, как бы отождествляясь с образом Родины-матери и от ее имени, требуют от государства защиты, то есть – фактически – наказания «врагов-художников» и даже, цитирую, «успокождения». Корреспондентка, пишущая в прокуратуру по этому делу, оказывается, одинаково выступает как мать и как женщина в целях сохранения рода перед лицом злостных происков врагов – «интеллектуалов-авангардистов-сатанистов». Вот некоторые примеры этого пафосного дискурса материнства: «Радость...гордость от соблюдения традиций русского православия наших предков померкла после бесчеловечности экстремистов и была сопряжена у меня, матери двоих детей, с неопишными человеческими страданиями как гражданки, как матери, что это не дают спокойно жить, дышать и работать, не говоря уже о здоровье, не одной матери, не только православной, как вообще жить, как воспитывать детей, когда рядом с нами происходит такое, какими они вырастут, рвут на части душу многие вопросы... Тарасова Надежда Михайловна».

Следующая цитата: «Я воспитываю 4-х девочек, 4-х будущих православных матерей, прививаю им любовь к истории, традициям. Вдруг на наших глазах происходит попрание всего, что для них так дорого, и с таким трудом привито мамой, папой, дедушкой-ветераном войны и бабушкой. Неужели я могу смотреть на это спокойно? Нет. Нашлось несколько отважных защитников наших традиций. Низкий им поклон».

Как видим, материнское отношение распространяется здесь на действующих 4-х погромщиков, которые в глазах женщин предстают страдальцами и как бы былинными героями.

При этом женщины, пишущие в прокуратуру, живут в фантастическом выдуманном мире, ничего общего не имеющим с действительностью. Многие из них искренне убеждены, что «в Центре Андрея Сахарова глумились над живыми Господом, Богородицей и Его святыми». Они пребывали в полной уверенности, что окружены со всех сторон евреями-сатанистами, которыми они считали не только всех художников, но и их защитников и всех, кто им сочувствовал.

Вывод: таким образом, в ситуации преследования, гонения на *другого* российские женщины не уступают мужчинам. Драма материнства в конечном счете разыгрывается для мужчины и в его интересах. При этом они стараются «от души», как правило, искренне, ничего за это не имея, в то время как манипуляторы-политтехнологи (по большей части молодые образованные мужчины) продают подобные идеи за большие деньги в качестве товара. Как выйти из этого заколдованного круга, когда женщине в который раз навязывается деструктивная роль, а женская энергия апроприируется патриархатной властью – вот, с моей точки зрения, основной вопрос который неизбежно встает перед феминистами и гендеристами, стремящимися трезво оценивать ситуацию в России.

Ирина Жеребкина. До вопросов к Анне я хотела только обратить внимание, что у нас тут по ходу семинара появилось уже не только несколько типов советских/постсоветских женщин, но и мужчина наконец. Женщины: сначала «лишенные» – у Елены Гаповой, потом у Светланы Айвазовой такие бессознательные феминистки (с «сознательными», то есть со всеми нами – пока совсем плохо, как констатировали Елена Гапова и Ольга Воронина; но мы, я уверена, еще будем это уточнять). А теперь вот и мужчина – «политтехнолог»...

Елена Здравомыслова. У меня вопрос к Анне Альчук. Вы сказали, что опыт этот (участия в процессе) заставил вас пересмотреть отношение к феминизму. Расшифруйте, пожалуйста.

Анна Альчук. Я просто говорила, что столкнулась – и старалась это проиллюстрировать – с невероятной женской агрессивностью.

Елена Здравомыслова. А феминизм как?

Анна Альчук. Видите ли... Я не сказала, что после этого я перестала быть феминисткой, но определенные вопросы передо мной встали. Почему именно женщины проявляют такую агрессивную активность в ситуации гонения на *другого*...

Елена Гапова. Но мы, феминистки, ведь вообще никогда не исходили из того, что «женщины» чем-то лучше...

Анна Альчук. Да-да. Но с другой стороны, существует феминизм жертвы, где акцент делается на том, что женщина – именно жертва, угнетаемая обществом. А здесь резко другая ситуация: женщина активно стремится трансфор-

мировать эту угнетенность в агрессивную энергию, которой стремится угнетать других.

Елена Гапова. Она использует то, что дает ей хоть немного власти. Мужчина использует ту ситуацию, в которой получает много власти, а женщина использует ту ситуацию, в которой получает хоть немного власти.

Анна Альчук. Да, но вопрос в том, *как* она ее получает и использует...

Татьяна Герасимова. Существует такой институт, как кликушество в православии. Но женщины здесь ни при чем.

Михаил Рыклин. У меня в связи с поднятой темой возникает такое специфическое наблюдение, что с конца 80-х наша наука была заброшена государством, и вот постепенно такой дрейф происходил как бы в разные стороны, и очень многие причалили к церковным структурам и, продолжая работать в Академии, в Третьяковской галерее и т.д., они стали достаточно фундаменталистски настроенными верующими. И вот женщины, которые писали экспертизу по этому делу, они, конечно, теоретически вооружены.

И вот в чем я вижу опасность современной России в отличие от Советского Союза? Советский Союз проводил довольно репрессивную, но очень сильную культурную политику, т.е. он формировал свой имидж железобетонными и чудовищными средствами, но он его формировал. Чем сейчас Россия отличается от большинства европейских государств? Она не имеет разработанной культурной политики – точнее, эта политика не формируется культурным институтом самой России, т.е. теми же академическими культурными институтами, теми же творческими центрами: они отодвинуты. И церковь заполняет эти ниши, заполняет довольно активно, и получается, что светские виды знания оттесняются.

Татьяна Герасимова. И все-таки у меня вопрос к Анне – насколько эти тексты действительно принадлежат женщинам? Вы могли это понять? Возможно, они были написаны другими, а вам просто давали с ними ознакомиться?

Анна Альчук. Дело в том, что да, большее количество текстов – это просто размноженные тексты на ксероксе. Они их просто подписывали...

Павел Романов. Я хочу поддержать Таню Герасимову. Мне не понравилось в докладе слово «женщины». При чем здесь «женщины»?

Анна Альчук. Вы предлагаете отказаться от слова «женщины»? Но они от имени матери все-таки говорят. Это очень важная ниша: только женщина может так сказать.

Павел Романов. Нужно понять, *почему* они так говорят, вернее – *почему* это говорят женщины... В связи с этим я хочу обратить внимание и на некоторое логическое противоречие в выступлении Михаила Рыклина. С одной стороны, мы имеем некий активизм низовой, с другой стороны – мы говорим, что это консервативная атмосфера, государство и т.п. канализует этот активизм в определенном направлении. Но не кажется ли вам, что подобного рода активизм будет и дальше продолжаться и поддерживаться во многом благодаря многополярности, которая проявилась в постсоветский период? Например, и в США множество религиозных групп, множество всякого рода демонстраций. Но то, что эти движения снизу и их смыслы губительны, что в них только негативные аспекты проявляются – можно ли делать такой вывод?

Анна Альчук. Я же не говорила про все социальные движения. И в этом «низовом» движении не было бы ничего криминального, если бы оно не было так активно поддержано на государственном уровне – сначала Думой, потом генпрокуратурой.

Игорь Кон. Я не вижу в описанной Анной ситуации никаких сложностей с гендером. Я не фундаменталист, хотя меня в этом подозревают. Вопрос, который меня интересует – а я подписывал письмо в защиту художников, но этой выставки я не видел, я достаточно о ней читал – что если бы в *защитной* компании меня спросили, какое мое мнение, я бы ответил – ни в коем случае! Если мы занимаемся политикой, надо играть по правилам политики. Есть провокация эстетическая, а есть провокация политическая, религиозная и т.д. И эти вещи могут совпадать. Разграничение предполагает определенный уровень культуры. Совершенно точно, что картины, которые совершенно спокойно проходили в 20 веке на Западе, не могли проходить в 16-17 веках. И так далее. Поэтому когда организуют выставку, те, кто организует, он должен на два шага вперед представлять все эти ситуации внутри страны, это вопросы перестраховки. Бывают вещи, которые нужно просчитать как по ниточке...

Ирина Жеребкина. Так, понятно. Может, и этот семинар не выносить за пределы аудитории? (*Общий смех.*)

Елена Здравомыслова. Мне кажется, в ходе доклада произошла подмена предмета. Сначала стали говорить об участии женщин и о консервативной мобилизации. Но мобилизация может происходить со знаком плюс и со знаком

минус: если я в движении правозащитном или выступаю как солдатская мать, то я таким образом мобилизуюсь; если я в консервативном направлении, религиозном, православной идеологии, то я – «хранительница» и т.д. А вот проблема, по-моему, в том, что у нас действительно происходит усиление этого православного дискурса, который поддерживается государством. И вот здесь происходит страшный поворот в гендерном порядке, когда выстраивается иерархия сверху. Это нужно осуждать. Мне кажется, что просто нам страшно. Но мне кажется, что доклад Анны немного ушел от темы: когда вы критикуете этих репрессированных женщин – старушек, бабушек...

Михаил Рыклин. Я хочу ответить Игорю Семеновичу на его тезис о том, что нужно прогнозировать такие вещи, которые задумываются как вызов. Выставка была в начале 2003 года, и это было задумано как ординарная художественная операция. И даже такие опытейшие люди как Ковалев, например, или Боннер не были готовы к такому повороту событий. Это то, что называется прецедент.

Тут вот такой вопрос. Вы, например, пишете текст, вы, естественно, ничего плохого сказать не хотите. Но разве вы не замечаете, что ваши тексты все время реконтекстуализируются: им придают такие контексты, которые вы абсолютно не могли предвидеть, вы же не можете предвидеть реконтекстуализацию. А там была брутальнейшая реконтекстуализация – просто люди приходят разрушать. Причем, их, естественно, арестовывают, казалось бы, их обвиняют... Чтобы предвидеть такие вещи, нужно быть колоссальным мудрецом. Очень трудно.

Ирина Жеребкина. Если вопросов больше нет, перейдем к следующему выступлению – Людмила Бредихина.

Людмила Бредихина. Во-первых, у меня не было такого травматического опыта, как у Анны Альчук. Во-вторых, тот художник – некрофил и педофил⁹ (*общий смех*) – с которым я работаю уже много лет, он до сих пор не под следствием, не сидит, и все в порядке пока. И в этом смысле я более оптимистична. (*Реплика Михаила Рыклина – «и слава Богу!».* *Общий смех.*) Кроме того, мне не приходится быть в рамках академического дискурса, поэтому я не знаю того, что он может оказываться – как здесь говорилось – достаточно травматичным. Очевидно, что существуют группы тех, кто находится *между* – например, между академичностью высказывания и популяризацией его, возможностью его популяризации. Но между этими всеми возможными полюсами есть еще один полюс – современного искусства, который запрашивает (если не требует) некоей провокативности высказывания, некоего провокативного нащупывания гра-

ниц любого понятия, что позволяет как бы «менять свой окрас», попробовать различные типы дискурсов.

И в этом смысле к оптимизму меня подталкивает ситуация с современным искусством и его «гендерной» инициацией этой зимой, то есть я имею в виду Первую Московскую биеннале. Почему я предлагаю вам порадоваться по этому поводу вместе со мной? Так как, на мой взгляд, гендерные исследования и современное искусство – это две вещи вполне совместные и очень всеобъемлющие, это переводные проекты и опыт демократии по многим причинам. Более того, известно, что феминистская критика, начиная с 70-х годов, постоянно экспрессировалась работами художниц интернациональной сцены; более того, она повлияла – безусловно повлияла – на основные темы и проблемы современного искусства в целом.

Поэтому мне хотелось бы сказать свои конкретные (оптимистичные) наблюдения по поводу трех пунктов. Первый – (пусть это будет как реклама), но как оптимистка должна вам сказать, что книга «Гендерная теория и искусство», которая должна была выйти в прошлом августе, выйдет уже в этом августе, и это хорошо. И эти тексты как раз свидетельствуют, насколько важно это соседское взаимодействие гендерных исследований и современного искусства. И особенность этого сборника, как мне кажется – в том, что он не предлагает в качестве кредо тот или иной взвод феминизма, а дает выбор – представляет ведущие имена феминизма. Этот сборник очень эвристичен. И насколько я сейчас понимаю, он очень важен для обсуждения вопросов именно на стыке гендерных исследований и современного искусства.

Второй пункт: этот сборник подтолкнул меня к новой роли куратора – и я в ней тоже не раскаялась, и это тоже повод для оптимизма. В результате в Московской биеннале было представлено даже два гендерных проекта, совершенно неожиданно, хотя скажу откровенно: тема гендера в художественной среде – не модная. Так прямо и говорят, что не модно, не модно, давайте обойдемся без гендера. Тем не менее, было два проекта, даже проект «Гендерное волнение» был награжден Академией Церетели... Мне дали медаль, но дело не в том, что мне лично, а потому что гендерные исследования прозвучали хорошо. Я не думаю, что у меня есть время рассказывать о коллизиях этого проекта «Гендерное волнение», как-нибудь в следующий раз.

Третий пункт. Мне бы хотелось еще представить в этом сегодняшнем гендерном семинаре фигуру *второго* (после вышеназванного «политтехнолога») типа мужчины, который отказывается от языков культуры и уходит с берегов человеческого, превращаясь в собаку, быка, кого-то еще... птицу, но при этом остается в качестве мужчины. Это я наблюдала в нескольких проектах и нескольких контекстах, причем различных – я имею в виду и российские контексты, и западные. Причем его отказ от общечеловеческого качества «человек» – он воспринимался очень политизированно, когда его фигура была фигурой

русской собаки. Возникло огромное количество текстов, т.е. возникла ситуация политизированности, что вполне естественно. Но я наблюдала и другую картину в проекте «Я кусаю Америку», который незапланированно вырос в огромный набор материалов для гендерных исследований. С одной стороны, это была, конечно, отсылка к российскому контексту и контексту двух бывших империй. Но я наблюдала и другую картину – когда этот же проект превратился в проект об отношениях мужчины и женщины! И это было очень забавно, потому что Кулику как мужчине писали любовные письма через Интернет, причем писали американские продвинутые женщины, например, была художница, которая демонстрировала свою осведомленность в феминистских теориях. Здесь интересно, как действовала женщина, видя мужчину-собаку. Деление проходило по критерию, верит она или не верит в его окончательное превращение в животное. Если не верили, то кричали «ты мужчина!», и это было агрессивное поведение. Если казалось, что да, вот все-таки немножко животное, то позволялось то, что в американских ситуациях совсем невозможно – голого мужчину, даже если он на четвереньках, его кормили, его гладили, с ним говорили «сю-сю-сю» и все в таком ключе. И это было крайне забавно, потому что не он был инициатором этого поведения. То есть женщины, видя мужчину в таком собачьем виде, состоянии...

Ирина Жеребкина. Били ногами?..

Людмила Бредихина. Кстати, да. Одна женщина, которая не опознала в нем животное, устроила крики: «Ты не собака! Ты мужчина!» и при этом вела себя достаточно агрессивно... Вторую картину, которую я наблюдала, это «Собака Павлова» – проект в Роттердаме, по поводу которого была написана известная статья Р. Салецл. Она приводит остроумное замечание Лакана о том, что объект эксперимента Павлова – это сам Павлов. Собаки не интересуются ничем, кроме мяса, и все эти символические означающие – все это эффект идеологии, и Павлов попадает в эту ловушку. Мне казалось, что в этом нашем проекте я как раз и играла роль Павлова: Кулик не только не разговаривал, он даже не лаял в этом проекте. Я писала непрерывно научнообразные тексты, я делала Интернет-программу, я была его культурным представителем, хотя прогуливала его не я. Тем не менее стать как Павлов – на этот статус мне не удалось прорваться. Естественно, возникает такой соблазнительный вопрос – не по признаку ли это пола? Боюсь, вряд ли. Сейчас я не стану анализировать текст Салецл и ее очень грамотный с точки зрения теоретического психоанализа пересказ десяти заповедей зоофрении. Но мне не кажется, что ситуация такого жертвенного отказа со стороны мужчины от своего маскулинного статуса, от своего маскулинного положения в нашей ситуации не всегда считывается и обрастает какими-то другими коннотациями.

Помимо куликовской практики я скажу о ситуации, которая возникла в «Гендерных волнениях» на этой выставке, где Гарик Виноградов, известный художник, сделал жест достаточно непривычный. Т.е. он просто прячет свои гениталии и становится в позу Венеры. Как интерпретировать такое движение? Такую женственную позу – обобщенную, а не какую-то конкретную? Причем с точки зрения материала для гендерных исследований это происходит достаточно канонически, т.к. он выбирает природный антураж: природа тоже должна свидетельствовать об этих женских кодах. Сам он не вписывает свой жест в эти самые коды. И тут возникает вопрос – а имеем ли мы право, возможность не ожидать объявленности гендерного жеста и говорить о свободной интерпретации этих жестов? На этом я остановлюсь.

Людмила Попкова. У меня вопрос, который имеет непосредственное отношение к нашей теме. Он о перформансе в телепрограмме по поводу Конституции, когда был резкий конфликт между художницей, представившей этот перформанс, и гендерным сообществом, приглашенным на круглый стол. Мне хотелось бы выяснить ваше мнение... Перформанс заключался в том, что художница на наших глазах звонила по телефонам проституткам (их адреса были на экране) и говорила им «приезжайте», есть потребности в их услугах. Приехала одна, ее усадили и стали говорить, как она дошла до этой жизни и т.п. – для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, проблеме проституции. А художница рассказывает, как она была потрясена, когда ее приняли за проститутку и что тоже надо привлечь внимание к этой теме.

Мы находились в оцепенении. Когда мы прорвали молчание в этом представлении этой женщины как объекта, мы стали говорить на разных языках. Когда женщину убрали с лобного места в зал, она же ничего не говорила художнице. Если бы она была свободным человеком!.. А нас обвиняли, что мы пытаемся скрыть проблему проституции – так же, как пытаются скрыть тему чеченской войны. Художница, маркирующая себя как феминистка, осталась при своем мнении, что она имеет право использовать живого человека в качестве объекта и это называть...

Людмила Бредихина. Но ведь было создано пространство, в котором задавались вопросы – и не только к этой девушке, но и к самой художнице: она должна была отстоять свою позицию. И все присутствующие на самом деле находились не на научном семинаре, а в ситуации хеппинга.

Людмила Попкова. Мой тезис такой – мы должны быть в одинаковом положении. Вот эта проститутка, которую вызвали и поставили перед нами, она должна была быть в одинаковых условиях. Она подписалась продавать свое тело, но она не подписывалась на другое. Они не находились в одинаковом

положении. (Реплика: «Ее посадили на лобное место как проститутку перед всеми нами, как в президиум!!!»)

Людмила Бредихина. Вы как-то так рассказываете, как будто бы ее приковали... Она получила свои деньги. Это не было судилищем. Почему так воинственно и так болезненно нужно относиться к слову «проституция», а не исследовать ситуацию?

Многочисленные реплики. Ее обманули... Ее вызвали как на вызов...

Людмила Бредихина. Это я согласна, этого она¹⁰ не должна была делать.

Людмила Попкова. Доказательством, что она ничего не понимает, было ее молчание. Уходя, она сама взяла микрофон и сказала – «Меня никогда так не опускали, как сейчас».

Людмила Бредихина. Моя позиция такова. Я знаю художницу Елену Ковылину и знаю примерный круг ее проблем, я знаю ее фильмы. Этот хеппинг для меня не был неожиданностью, но был некоторым провалом – ее художественного жеста. Безусловно, она не имела права не сказать, куда и для чего вызвали эту девушку. Мы говорили с ней постскриптум. Она сказала: «Я говорила, что это в музее...». Но мало ли что там в музее бывает! Поэтому понятно, как я к этому отношусь, но не как к фашистскому жесту все-таки.

Эдуард Надточий. А можно спросить, почему для ваших гендерных художественных проектов вы мужчин выбрали в качестве объекта анализа, а не женщин?

Людмила Бредихина. То есть вы имеете в виду, почему я анализирую ситуацию с мужчиной? Во-первых, потому что я его хорошо знаю и его практику, во-вторых, у меня нет аналогичного опыта с женщиной. Вы предлагаете мне самой или мне найти художницу?..

Ольга Воронина. Очень коротко, пожалуйста, сформулируйте, в чем заключаются гендерные смыслы тех художественных жестов, о которых вы рассказали.

Людмила Бредихина. Очень коротко не получится. Почему не получится – потому что мы находимся в той стадии, когда это только формулируется. Дело в том, что мне неоднократно приходило в голову, что ситуация художницы похожа и имеет оттенок (регулярно возникающий) синдрома заложницы – и се-

годня тоже, потому что ситуация тоталитарная стала посттоталитарной по инерции. Художница-женщина (и не только художница – любая женщина) находится в ситуации некоторой идентификации со своим заложником. То есть настолько серьезны внешние проблемы выживания, что оппозиция мужского и женского оказывается на время стертой. И когда мы обнаруживаем себя в этой ситуации, то достаточно сложно определить и половые, сексуальные различия, и социально-политические, и какие-то другие, и расовые. Поэтому коротко сформулировать, что такое гендер в современном искусстве, как он функционирует и какими качествами обладает – достаточно сложный вопрос.

Ирина Жеребкина. Михаил, у вас комментарий?

Михаил Рыклин. Да. Я совершенно не согласен по поводу расцвета феминистского искусства в России, о чем в начале своего выступления сказала Людмила. Напротив, если воспринимать под искусством некий критический дискурс в отношении общества, то оно потерпело в России в последние 4-5 лет поражение. Не случайно работы, на которые ссылалась Людмила, были сделаны до этого – в 96, 97 годы. Ни одна из этих работ не была сделана после 2000 года.

Второй момент. Очень закономерно, что такие акции, как у Ковылиной, происходят. Они и будут происходить – потому что количество реально запрещенных тем очень велико. Атаковать эти темы никто не решится, потому что сотрут в порошок. А вот поставить эту женщину в такое положение было легко... Можно наезжать на меньшинства, можно ставить их в неудобное положение – потому что блокирован основной социально-критический дискурс искусства, полностью блокирован, забетонирован. Художникам предоставлена музеефикация. Это могут позволить себе те, кто вошли в историю искусства. Олег Кулик – счастливый случай, потому что он успел в 90-е достаточно много сделать: есть что музеефицировать. То, что сделала Ковылина – это взять человека, беззащитного, лишенного прав и фактически придать суду Линча перед просвещенной аудиторией. Это плоско, но за это не наказывают. Ну, в лучшем случае с Людмилой она может иметь дело по этому вопросу. Мне кажется, что это отчасти является следствием реальной ситуации. Никакое биеннале, никакие положения Министерства культуры это не изменят. Есть ли какой-то реальный критический дискурс? Его нет. А талантливые люди остаются.

Людмила Бредихина. Мой оптимизм не вызван «расцветом». Я этого не говорила. Я говорила о том, что происходят институциональные сдвиги. И это так. А что касается критического дискурса – то это хорошее замечание.

Ирина Жеребкина. Итак, «нет критического дискурса» – и сделаем здесь пока точку с запятой. Следующее выступление – *Миглены Николчиной* о ситуации с гендерными исследованиями в Болгарии.

Миглена Николчина. Я хочу поблагодарить Ирину за приглашение участвовать в этом обсуждении: мне было очень интересно больше узнать о ситуации в гендерных исследованиях в постсоветском пространстве. В свою очередь, я буду говорить о той ситуации, которая возникла с гендерными исследованиями в Болгарии. В своем выступлении я остановлюсь только на нескольких «почему», которые часто возникают, когда мы говорим о гендерных исследованиях. Первый, и, наверное, наиболее важный вопрос – почему гендерные исследования не должны становиться «движением»? Наверное потому, что у гендерных исследований нет своего постоянного движения – скорее, гендерные исследования могут становиться основанием для образования *спонтанных движений*, т.е. они могут использоваться различными (например, женскими) организациями в их движении, однако основной задачей гендерных исследований является прежде всего получение знания, и это – очень важная работа. Иногда мы ничего не делаем, иногда мы делаем очень много, но именно получение знания является нашей основной задачей.

Вторая особенность гендерных исследований заключается в том, что, например, мы в Болгарии никогда не хотели разрушить, «подорвать» институт академии. Академия в Болгарии находится сейчас в очень уязвимом состоянии, многим учреждениям было сложно приспособиться в изменившихся условиях, и гендерные исследования совершенно не ставили себе цель усложнить им жизнь. Кроме того – третья особенность – мы с самого начала понимали, что гендерные исследования не должны зависеть от иностранных фондов. Если нас поддерживает какой-либо иностранный фонд – замечательно, если нет – ничего страшного: мы знали, что в любом случае мы сможем жить. Просто жить.

Еще один важный вопрос связан с тем, каким образом общественное мнение настроено в Болгарии по отношению к гендерной проблеме, т.е. чего мы достигли в плане создания общественного мнения. Я приведу пример, касающийся женщин в политике. При опросе общественного мнения, который недавно проводился в Болгарии, на вопрос, за кого бы вы голосовали, если бы было два кандидата с одинаковыми программами, один – женщина, другой – мужчина, 73% респондентов ответили, что голосовали бы за женщину, мотивируя это тем, что именно женщина способна проводить политику, «наилучшую» для Болгарии, при которой в Болгарии не было бы места коррупции и другим негативным явлениям. Однако ситуация в парламенте диаметрально противоположна – у нас только 27% женщин. Репрезентативность женщин и

мужчин при демократии пропорционально противоположна тому, что, как говорили люди, они бы выбрали.

И последнее – мы не всегда понимаем, каким образом инициативы женщин и их деятельность представлена публике и что на самом деле с ними происходит, когда они вписываются в более общую картину. Женщины своими инициативами добиваются того, что хотят, но ведь после того, как мы добиваемся того, чего хотим, иногда оказывается, что мы этого не хотели.

Ирина Жеребкина. Спасибо и очень кстати. Такой неожиданный для нашей ситуации, как мы ее здесь описываем, логический поворот. Есть ли вопросы к Миглене?

Елена Здравомыслова. Есть ли в Болгарии такая специальность – гендерные исследования? Дипломы и диссертации защищаются именно по гендерным исследованиям или рамках уже существующих уже специальностей?

Миглена Николчина. В университете Софии – небольшая гендерная программа: четыре года – бакалаврская, один год – магистерская; каждый год в магистратуре у нас учится десять-двенадцать человек, и мы стараемся ее не расширять. Теперь у нас есть еще и аспирантура. Эта программа весьма популярная, к нам поступают и мужчины, но их меньше, чем женщин. Сама программа называется «Гендерные исследования».

Татьяна Жданова. У меня вопрос об организации научных исследований, о научных структурах. Насколько в Болгарии в научных журналах, которые публикуют результаты исследований в социальных науках – скажем, в политологии, в социологии, в философии и т.п., возможно для человека, который занимается гендерной проблематикой, опубликовать свои результаты? Например, в журнале по политическим наукам? Я говорю о политологии специально, потому что я знаю, что в России здесь есть особенная трудность: принципиально отказывают опубликовать статьи по этой проблематике.

Миглена Николчина. Я не знаю ни одного журнала в Болгарии, который бы отказался печатать статьи по гендерной проблематике. Кроме того, существует несколько специализированных академических гендерных журналов, в которых также можно публиковаться.

Ирина Жеребкина. Я помню, вы пробовали, когда вы были директором гендерной программы в Центральном Европейском Университете, создать академический журнал по гендерным исследованиям?..

Миглена Николчина. Оказалось невозможным.

Татьяна Жданова. Тогда второй вопрос. Есть, наверное, национальные ассоциации – психологическая, социологическая, философская, есть?

Миглена Николчина. Да.

Татьяна Жданова. Вот как там – есть какие-то возможности, чтобы как-то инкорпорировать гендерные исследования? Может, есть какие-то комитеты, которые продвигают это направление исследований?

Миглена Николчина. Есть институт социологии, который проводит национальные социологические гендерные исследования и, кстати, они также выпускают журнал.

Ирина Жеребкина. Мы, наверное, должны поблагодарить Миглену, что она предупредила нас о том, что существует и вторая стратегия развития гендерных исследований, нежели та, о которой мы здесь пока говорили и которая строится под знаком запрета. Есть и другая: хотите программу – пожалуйста, хотите журнал – пожалуйста, хотите ассоциацию, институт, женщину-президента – пожалуйста... Здесь я предлагаю прервать наше обсуждение на некоторое время для презентации, как это задумывалось по плану, новых книг Игоря Семеновича Кона.

Игорь Кон. Спасибо! Я хотел показать три последние книги, которые у меня вышли. Одна – это 4-ое издание «Дружбы», это был такой бестселлер 80-х годов. Это не переиздание, многое сделано, много новых материалов, в том числе о мужской и женской дружбе. Вторая – это вузовский учебник «Социология». Это на базе того, что было, но это новые книги на самом деле, и речь в них идет о совсем новых вещах. И, конечно, самое интересное и неясное – это женская сексуальность. То есть то, что еще недавно казалось ясным, оказалось, что есть еще вопросы и ответы надо искать, но не с помощью гендерных исследований, а в социологических исследованиях, нормальным способом. (*Общий смех.*) И при ответах надо учитывать, конечно, биологию – ведь это реальная проблема. В гендерных исследованиях речь идет о том, что биология нас не касается, это не наше дело, мы говорим о сексуальности как о дискурсе и о власти. Да, конечно... Но если мы хотим пощупать что-то конкретное, то надо пощупать... Поэтому в принципе каждый раз, когда я пишу, каждый раз я мучаюсь сомнениями – пол или гендер и т.д., смотрю в справочнике. Много неясностей, но на самом деле как-то понимать это можно только в гендерных изданиях: возможно, потому что все остальное непрофессионально, к сожалению.

нию. И вы даже представить себе не можете, насколько это все дремуче и ни с какой наукой не корреспондирует.

Третья книга – ее нет в магазине «Москва»; я не знаю, почему ее нет, может они боятся... – это второе издание «Клубнички на березке». Это новая книга, она сильно расширена, там много новых истории. Кроме того – и это совершенно точно – это *самый смелый поступок в моей жизни*, все мной написанные статьи по сравнению с этим – это пустяки, потому что риски *тогда* были гораздо меньше, чем они есть сегодня. Здесь совершенно открытым текстом, ясным языком без иностранной терминологии описано, как сегодня строятся отношения церкви и государства, какая за этим стоит корысть – политическая или экономическая. Еще здесь, конечно, что интересно – это история. И у меня такое впечатление, что у нас никто и никогда не читал Ключевского, потому что самое страшное – это когда из Ключевского берут черновики. Я использовал материал фактический. Выясняется, например, что понятие «святая Русь» заведомо направлено против инородцев и иноверцев. Здесь я использовал очень широко, опять же... географические вещи. Мне кажется, здесь получаются очень интересные исследования – количественные, и эти «географические истории» указывают на одно направление, и их не стоит держать в разных карманах. Еще в этой книге есть некая статистика и есть иллюстрации, и они, как мне кажется, не противоречат друг другу.

Эти книжки я привез подарить ХЦГИ.

(Бурные аплодисменты.)

Ирина Жеребкина. Спасибо! Следующее выступление – *Елена Кочкина*.

Елена Кочкина. Я хочу поблагодарить Ирину за предложение мне самой выбрать тему выступления¹¹, и я вспомнила, что еще в 1997 году я заявила фактически эту тему, и она прозвучала как «Развитие гендерных исследований в политологии». Светлана Айвазова дала мне возможность что-то проговорить. Я помню, две недели сходила с ума, чтобы как-то это концептуализировать, а когда два года назад я заканчивала сборник «Гендерная реконструкция политических систем», у меня просто не хватило сил дописать заключение, а полтора-два листов собраны... Поэтому я достала сейчас свой старый текст, и оказалось, его довольно легко перевернуть на вопросы, поставленные Ириной, несмотря на мою склонность к количественным оценкам.

Конечно, можно было бы посчитать количество диссертаций, защищенных по политологии – это специальность 23.00.02. – сколько было кандидатских, сколько докторских, где встречалось слово «гендер», где – «женщина» и т.п. Однако мы проговорили с Ириной, что я не буду вдаваться в детали, в подробности. Могу сказать, что я выделяю 13 индикаторов (их можно обсуждать), которые позволяют нам сделать оценку институционализации гендерных ис-

следований в России – как в любой дисциплине, так и в разных институциональных срезах.

Прежде чем перейти к индикаторам, я бы сказала, что ответ на вопрос, чем мы занимаемся и что произошло в моем понимании, и что я делаю последние 15 лет (согласно Ольге Ворониной, мы все-таки продолжаем существовать), я бы обозначила как нахождение в энергии демократически-наивной эйфории. С другой стороны, если посмотреть критически, я пытаюсь найти точку опоры в постоянно меняющейся ситуации неопределенности, особенно в политике, чтобы можно было по отношению к ним как-то позиционироваться. Мне как-то проще, когда меня спрашивают, чем бы я хотела заниматься. Так вот, я хотела бы уйти на уровень политической теории – там, мне кажется, возможна хоть какая-то передышка и осмысление...

А сейчас я попытаюсь перечислить эти критерии.

Первое – это, конечно, производство знания. Производство знания в сфере традиционного позитивистского политического происходит довольно масштабно. Я написала 2 введения к «Гендерной реконструкции политических систем» и там 120 ссылок на российских авторов. Из них где-то порядка 50-60 авторов, которых я воспринимаю как авторов, работающих в сфере создания знаний в рамках политической науки. Более того, очень четко определились и Центры создания гендерных знаний, и у них произошла дифференциация – по моим подсчетам, у нас есть порядка 15-25 центров гендерных исследований, то есть там есть группы людей, создающих знания. В ведущих Центрах политические интересы заявлены очень четко – либо на теоретическом уровне, либо на уровне прикладного анализа. Поэтому мне кажется, что эта озабоченность политическая, она в гендерных исследованиях на постсоветском пространстве, по крайней мере в той части, что мы обсуждаем сегодня – Украина, Россия, Беларусь – изначально присутствовала.

Если посмотреть на институционализацию слова «гендер», то два термина были приняты в политологии – 1) «гендерная экспертиза» и 2) «гендерная политика», потому что диссертации, которые сейчас защищаются, и указы, которые сейчас выходят, включают эти слова. Если посмотреть на институционализацию с точки зрения функционирования академических институтов, я тут перечислила 10 академических институтов в Москве. Вот, например, в конце мая была самая крупная академическая секция (4 дня; ее вела профессор Крылова) – «Женщины и гендерные исследования в сатанистике». (*Общий смех.*)

Я понимаю, что общее изменение – снижение политического статуса и попытка изъятия собственности из сферы академического воспроизводства – конечно, меняет и какие-то перспективы. Например, «Институт социально-экономических проблем народонаселения», откуда вышла я сама и в 1990-м году была создана первая гендерная лаборатория и который был «крышей», которая была в лице Н.М. Римащевской и ее Совета, сейчас этот социальный ресурс,

конечно, уже утрачен в том виде, в каком он был. Он сохраняется как лаборатория, но уже нет той политической значимости. Я бы сравнила этот факт с исчезновением, возможно, фракции «Женщины России» в 1995 году из Госдумы.

Если посмотреть дальше и сравнить с другими дисциплинами, какие гендерные курсы читаются в России, то на мой взгляд, количество курсов, которые читаются по политологии, несравненно меньше, чем по социологии, экономике, филологии, истории, философии. Чем это объяснить?

Первоначально я думала, что доноровские сообщества (и я как бывший представитель этого доноровского сообщества) поддерживали преимущественно междисциплинарные гендерные курсы и программы. Я уговаривала Людмилу Попкову сделать курс или программу именно по политологии, но ничего не получилось. Вроде бы получилось взять политологов, но так и не получилось сделать концепцию, такую, которая собрала бы вместе гендерных политологов. Я частично связываю это с тем, что те эксперты и исследовательницы, которые работали в сфере политического анализа, были преимущественно ангажированы исследовательскими проектами и в меньшей степени ориентированы на трансляцию, то есть на создание учебных курсов.

В результате УМО¹² по политологии не пропустила те пособия, которые мы подготовили совместно с Ивановским университетом и его проректором Ольгой Анатольевной Хасбулатовой. Авторы там совершенно, на мой взгляд, брендовые были, если по личностям – Светлана Айвазова, Ольга Хасбулатова, доктора наук. К сожалению, политологическое УМО поставила условие, чтобы пришли заказы из региональных университетов на это учебное пособие и тогда они возьмут его на рейтинг.

По социологии у нас таких проблем не было, были сложности коммуникативные – как договориться, например, но не было такого принципиального отказа. Было выпущено пособие по социальной работе, подготовленное коллективом Елены Ярской-Смирновой и группой авторов. Было выпущено пособие по лингвистике, по западной истории.

Но что касается политологии, то мы получили резкий отпор, и это правда, о чем говорила Ольга Воронина – негативизм на уровне академической реакции идет.

Про диссертации я уже сказала – мне известно 5 ученых советов, где защищаются с большим или меньшим треском, т.е. скрипом, или блестящие – но это идет. По моим наблюдениям, женщины, занимавшиеся гендерными исследованиями и прошедшие все стадии академической карьеры и научных званий, имеющие хорошую репутацию в своей дисциплине и являющиеся членами Ученых Советов, на Ученом Совете обеспечивают возможность для защиты следующего поколения. Вот, например, Н. Григорьева – это факультет управления МГУ. Конечно, это поддержка Хасбулатовой в Ивановском университете...

Остальное – это издательские проекты, книготорговая сеть и библиотечные коллекции, которые уже сделаны.

Игорь Кон. Можно перечислить?

Елена Кочкина. В целом я могу сказать, что количество литературы, которое уже выпущено по гендерным исследованиям, сопоставимо с литературой, которая есть по другим новым специальностям. Но, конечно, несопоставимо с тем, что происходит на западе.

Следующие 3 критерия касаются того, как я понимаю влияние гендерных исследований на политическую институционализацию гендерных исследований. С одной стороны, исчезнувший национальный механизм по улучшению положения женщин в феврале прошлого года, перед тем как исчезнуть, обеспечил создание факультета повышения квалификации по гендерным исследованиям при Ивановском университете (было специальное распоряжение Минобробразования). И в принципе, это наше влияние, так как был сделан анализ; мы с Хасбулатовой писали, продвигали, финансирование не получилось, но влияние, конечно, было оказано. И институционализация вот такого типа, даже формального, она произошла. Сам же исчезнувший национальный механизм по улучшению положения женщин для меня феномен не прекращения, а напротив, *требования* продолжения развития гендерных исследований в наших странах – чтобы переломить ситуацию общего политического дискурса и политического процесса.

Но я не думаю, что при том уровне ресурсов, которые были вложены в гендерные исследования (гендерные программы поддерживали, собственно, 7-10 миллионов долларов за все эти годы), можно говорить о серьезном влиянии их на политический процесс. Возможно, если бы произошло чудо в ситуации институциональной неопределенности и постоянных изменений, но в нашем случае этого не произошло. Я думаю, что гендерные исследования сейчас очень четко в сфере политологии описывают происходящие со всеми ограничения, что касается российской политологии – ее концептуального аппарата.

Елена Гапова. Какие центры занимаются какими проблемами?

Елена Кочкина. Если мы возьмем МЦГИ – Валя Константинова и я занимались политическим участием, я и Ася Посадская занимались анализом законодательства, вся команда занималась анализом социальных реформ (какие бы они ни были) и делали гендерные экспертизы, прикладной анализ госполитики – сам Центр был создан для этой цели. Если мы возьмем ХЦГИ, то в ситуации, когда я начинаю обсуждать, что происходит и почему у женщин нет никакого стремления к тому, что происходит, то я, конечно, уже обращаюсь к про-

блемам субъектности, к проекту, который делает Ирина Жеребкина и ее коллеги – я считаю, это геополитический, транснациональный проект...

Елена Гапова. Второй вопрос. Когда мы говорим, сколько защищено, сколько сдано, какие-то журналы научные берут или, наоборот, отказываются вообще принимать статьи о гендере, то все равно оказывается, что многое из того, что «сделано по гендеру», к политической реальности никакого отношения не имеет?

Елена Кочкина. Что касается институционализации гендера как политической категории реальной политики, то, к сожалению, да. Но существует ведь «сообщество» гендерных исследовательниц.

Когда я работала в фонде Сороса, я приняла для себя решение, что «гендерные исследовательницы/тели», это те, кто а) называют себя гендерными исследователями, б) значимые для меня люди, которых я считаю гендерными исследователями и признаю их таковыми...

Сергей Патрушев. Вы пытались говорить о критериях институционализации. А все-таки, можно конкретнее – на какой фазе находится сейчас институционализация гендерных исследований в России?

Елена Кочкина. Сложно на этот вопрос ответить... Во-первых, я делала выступление не про все гендерные исследования в России, а только про политологию... Если мы будем сравнивать с американской ситуацией, то, конечно, количество Центров в Америке, где занимаются темой «женщина и политика» больше, чем у нас, количество публикаций в два раза больше, количество денег, которые на это тратятся, вообще несравненно больше...

Татьяна Жданова. Лена, как вам кажется, сообщество политологов считает гендерные исследования частью своей науки?

Сергей Патрушев. Можно, я отвечу?

Ирина Жеребкина. Если вы хотите...

Сергей Патрушев. В ответ на предыдущее выступление и вопрос, состоялась ли такая специализация, такая область знаний, как гендерные исследования, я ответил бы, что не состоялась. Она находится на фазе становления, формирования и т.д., причем не случайно, что это движение носит такой колебательный характер (как мы сегодня заметили). Есть движение, которое выражается в большом количестве книг, существовании нескольких центров и т.д.,

но сама дисциплина не состоялась, она еще не способна воспроизводиться на своей собственной основе, очень сильно зависит от взаимоотношения с другими. Последнее выступление это показывает. Я не понимаю, зачем рассуждать о гендерных исследованиях в политологии, если нужно выходить на собственный академический уровень? Это означает, что для вас самой границы гендерных исследований пока не ясны. Вообще, мои коллеги не считают, что область знаний возникает тогда, когда появляется одна тысяча публикаций. Одна тысяча публикаций означает, что самостоятельно область знаний не существует как дисциплина.

Второе – никакой особенности в гендерных исследованиях с точки зрения признания и непризнания в политологии, социологии и других дисциплинах нет. Все это профессиональные сообщества, которые существуют в той степени, в какой соответствующие профессионалы признают компетентность других. Но если возникают проблемы, вы их ощущаете, о которых вы говорите, это еще раз подтверждает, что гендерные исследования в России не сложились институциональным образом.

Павел Романов. Или что они живут, развиваются.

Сергей Патрушев. Они живут, но они еще не достигли фазы, когда мы не будем озабочены их выживанием.

Что касается политологического сообщества, то уже на Втором Конгрессе всероссийских политологов была гендерная секция. На Третьем никто даже не ставил вопрос, надо ее делать или не надо – сейчас Светлана Григорьевна Айвазова там одна из руководителей программы в рамках уже Четвертого Конгресса. Так что, с этой точки зрения, процесс идет. Не все журналы принимают, ну, наверное, да. А почему все журналы должны принимать работы, если там написано «гендер»? Надо еще качество работ смотреть. К сожалению, оно разное. Ну, и последнее самое. Один из аспектов институционализации любой науки состоит в том, что появляющаяся литература входит в оборот самих профессионалов. Я не готов предъявить статистику, но, очевидно, можно утверждать, что такого нет в вашей среде. Слава богу, было издание Симоны де Бовуар, начинает издаваться классика.

Павел Романов. А такая дисциплина, как политология – она вообще когда возникла?

Сергей Патрушев. В России – в середине, во второй половине 19 века.

Татьяна Жданова. А в 20 веке?

Сергей Патрушев. Ну, на этот счет не мною написаны работы. Что же, в 20 веке это развитие находится в латентном состоянии. Если вы полагаете, что за 15 лет можно выстроить то, что мы сегодня имеем, вы глубоко ошибаетесь.

Ирина Жеребкина. Вот видите, похожие, оказывается, ситуации – гендерные исследования и постсоветские политические науки...

Сергей Патрушев. Если мы говорим об академических политических науках, то академическая наука, в отличие от гендерной, не «выезжает» на политических партиях. Академическая политическая наука не влияет на политику и политическую практику. Отрасль самой политической науки – да, она расширяется, само политологическое сообщество охватывает новые предметы науки и т.д. Но, в отличие от гендерных исследований, это никак не связано с текущей политикой.

Ирина Жеребкина. Ну что же, давайте попробуем поговорить про практики гендерных исследований в текущей политической ситуации, уж если они – в отличие от академических политических наук (как нам сейчас о них было сказано) – с ней все-таки соотносятся. Слово предоставляется *Елене Здравомысловой*.

Елена Здравомыслова. Наше с Анной Темкиной выступление было заявлено как теоретическое (с названием «Женская власть – вопрос и ответ»), но сейчас я хочу – ориентируясь по ходу происходящего обсуждения – попытаться что-то сказать в форме не теоретического доклада, но экспромта, относящегося тем не менее к нашей предыдущей исследовательской работе в сфере гендерных исследований.

Итак, наш текст об институционализации гендерных исследований в России был опубликован в 2000 году в книге «Гендерный калейдоскоп» под редакцией Марины Малышевой, и там была такая идея, что в гендерном сообществе существуют разные точки зрения по поводу того, на какой фазе институционализации находятся гендерные исследования в России. Были пессимистически настроенные люди (некоторые позиции мы слышали сегодня от Ольги Ворониной), были позиции такого оптимистического запала (приращивание знания, институционализация и т.п. – как у Елены Кочкиной). Была еще такая «подвижная» точка зрения, что институционализация – это процесс, а поскольку это процесс, постараемся быть конструктивистами, то есть помещать это в контексты и предлагать классификации контекстов (экономический, политический, структурный и т.п.). Дальше был вопрос, что нам делать, чтобы увеличить этот процесс, когда есть 1) условия, препятствующие и 2) условия, сопутствующие развитию. И мы говорили о двух одновременно существующих про-

цессах, которые и выражают, на наш взгляд, желание постсоветских гендерных исследователей консолидировать собственное дисциплинарное сообщество – автономизация и интеграция. И мы говорили, что разные коллеги разные стили развивают и в принципе нет и не должно быть единой точки: мы просто должны думать о том, кто на что способен.

И сейчас я хочу также обратить ваше внимание на то, что представляет собой контекст, в котором мы находимся сейчас (речь о котором шла сегодня во многих сообщениях и поэтому мы решили с Анной на это отреагировать), по сравнению с тем временем, когда мы думали об этом в последний раз.

Если говорить о фазе трансформации, то эта фаза растяжимая. И мы ее можем понимать, с одной стороны, политически, с другой – как гендерную культуру в государственной и православной идеологии. И тогда ставить вопрос о том, что все это делает с современным гендерным порядком.

И в этом контексте я бы сказала, что у нас сейчас две тенденции. С одной стороны, нет препятствий, и гендерная тематика очень сильная, легитимная.

Сергей Патрушев. Даже слишком!

Елена Здравомыслова. Я бы даже сказала, что на уровне официального дискурса мы видим продвижение гендера. Если посмотрим на статистику, на цифры, то все равно увидим рост женщин в исполнительной власти, рост в бизнесе по сравнению с тем, что было 10 лет назад, во время патриархата – то есть серьезные подвижки в этом направлении, которые нужно видеть.

В то же время, с другой стороны, можно выстроить гипотезу, что эти подвижки обманчивы. Мне кажется, что они касаются культурных изменений консервативной политики в отношении распределения гендерных ролей, то есть, как говорят сегодня, проектов равенства. Вот ведь кто такие менеджеры сегодня, да? Это секретарши, только им дали другое название. И мы с вами хорошо знаем, что никакой женщины в политике сегодня на самом деле нет. И что вместо этого есть расчет официально строить как бы вот это движение равенства, но не нести продвижения равенства в действительности, в реальности. И вот это страшная опасность. Это страшная роль, которая недооценена.

И православные дискурсы тут играют, конечно, свою роль, о чем говорил Михаил Рыклин. А мы как бы не обращаем внимания на то, что говорит официальный православный дискурс по поводу гендера, по поводу людей, по поводу воспитания детей, по поводу репродуктивных прав, по поводу домостроя, по поводу ролей, по поводу секса. Я считаю, что у нас ключевая тема сегодня на самом деле – роль православия в конструировании гендерного порядка. Эту ключевую тему я не знаю, как ее надо продвигать и кто ее должен продвигать. Но я считаю, что это неофициальный вызов, который нам бросают, тот искусственный поворот, который связан не только с какими-то «узкими тенденция-

ми», но и с политическим контекстом. В новом политическом контексте эта тема звучит как нейтральная, но, по-моему, в гендерной теории мы не можем делать вид, что что-то является «объективным», «незаинтересованным» в конкретном политическом содержании.

Второй момент, на который я хочу обратить внимание, это то, что мы все-таки должны смотреть на то, как изменился сам контекст коммуникации за эти годы. На самом деле гендерные исследования в России давно заполитизированы обратным образом – в отказе играть остросоциальную роль: методология общая, проблематика своя, повестка дня своя, коллизии строятся по своим законам. Ну и что у нас там у нас в результате происходит? Что мы делаем в последнее время? У нас, конечно, сетевая виртуальная гендерная реальность стала очень видна. Про рассылки мы все говорим. Но роль этих рассылок, роль этих сетей в нашей партии гендерных исследований нами не проанализирована. Я вижу сейчас, что появились такие очень крупные эксперты в сфере гендерных исследований, реализация которых состоит в основном в сетевом проценте – то есть не в проценте публикаций. Это Лена Гапова, Ушакин, ребята из Казахстана, какие-то еще имена... И вот смотрите, какой это дало эффект – это дало новые возможности и это дало новые имена, которые появились в сообществе в результате как бы незапланированной техничности. Но тут остро стоит вопрос о качестве.

Третье – это то, что, как я называю, появилось в результате «незапланированных французских социальных наук». В 70-е годы французские социологи говорили, что вот эти официальные культуры, которые нас растягивают по разным клеткам, это одно дело, но дискурс у нас общий и проблема общая. И вот несмотря на это, очень часто мы видим, что у нас здесь нет стратегического блока в исследовательской гендерной сфере.

И последнее. Конечно, это сложный момент для гендерных исследований – как выстраивать стратегии развития и практики. Но, тем не менее, это наш шанс. Точно так же, как наш шанс усилить себя за счет создания блоков с другими социальными дисциплинами и исследованиями – интерактивно и т.д. Точно так же наш шанс состоит и в блокировании с правозащитниками, которые занимаются не только аспектами гендера, и с демократическими организациями. Это то, что стоит на повестке дня...

Сергей Патрушев. У меня вопрос – так какое влияние гендерные исследования оказывают на практику?

Елена Здравомыслова. На какую практику?

Сергей Патрушев. На ту практику, о которой вы только что рассказывали. То, что вы описываете как проблемное поле гендерных исследований, с этим понятно...

Елена Здравомыслова. Я сказала, что публичная политика выстраивает систему показателей, которые удовлетворительно выглядят на уровне репрезентаций.

Сергей Патрушев. Вы говорили об опасности, когда власть интегрирует дискурс демократии. А дальше что?

Елена Здравомыслова. Да, власть интегрирует дискурс демократии.

Сергей Патрушев. Ну, интегрирует, а что гендер?

Елена Здравомыслова. А гендер – деконструирует. Вот наша задача.

Павел Романов. Предлагаешь ли ты будущую стратегию гендерных исследований как диссидентскую?

Елена Здравомыслова. Нет, не предлагаю как диссидентскую.

Павел Романов. А видишь ли ты в условиях нынешнего режима окно возможности для диалога и сотрудничества со структурами власти?

Елена Здравомыслова. Я – нет. Но я предпочитаю быть оптимистом в отношении власти.

Ольга Воронина. Я хочу вернуться к тому тезису, который выдвинула Елена Здравомыслова, что сейчас происходит опасная игра против женщин в равноправии, которая на самом деле является опасной стратегией скрывания – камуфляжа. Гендерная проблематика в политике, которая расходует большие международные деньги, но эти деньги дают выход куда-то, неизвестно куда. Это популистское развитие. Вот канадский доллар идет на какие-то манипуляции, то же самое касается некоторых инициативных банков (типа Всемирного), которые тоже вкладывают совершенно огромные деньги, которые используются на какие-то программы, которые называют себя гендерными – типа ПРООН, но по сути они не дают информации, не делают ничего. Это было модой – гендерные организации, и это не то что искусственные операции были, это камуфляж.

Светлана Айвазова. Я в этом контексте хочу сказать, что проблема, которую мы сейчас подняли, имеет две стороны. С одной стороны, это создание симулякра, имитация – это одна сторона вопроса. Но есть и вторая сторона вопроса. Дело в том, что развитие общества – это одно, а дискурс нашей элиты – другое. Я тут абсолютно уверена. Те внутренние процессы, которые происходят в самом обществе – в том числе то, что касается гендера – это один процесс. А дискурс элиты идет совершенно в другом направлении, прямо противоположном. Это политическая элита, которая тоже касается как-то гендерной проблематики. И в результате происходит следующее: эти дискурсы расходятся стремительно. Приведу один пример. В апреле этого года в нашем парламенте в строительном законодательстве вносились поправки о гендерном равенстве. В это же время проводился соцопрос, как избиратели реагируют на эту норму гендерного равенства – надо это или не надо? Оказалось, что 60% опрошенных стоят за то, чтобы квота была внесена в избирательное законодательство.

Мне сказали, что это случайность. Но нет случайностей, потому что в период президентских выборов, когда Хакамада выставлялась, проводили опрос, и выяснилось, что 63% респондентов в России в списках кандидатур поддерживают женщину в ее продвижении на пост президента страны! Хотя 10 лет назад было в два раза меньше. Происходит неоднозначная вещь. И в этом как раз и проблема. И надежда. И это не женщины поддерживают, это общество в целом – и мужчины, и женщины. Я думаю, что если еще на один срок президент останется, то в следующий раз процент голосующих за женщину будет еще больше.

Елена Кочкина. Я тут думала после вопроса С.В. Патрушева, и у меня ответ на вопрос, что сделали гендерные исследования в России. Здесь присутствуют несколько политтехнологов – национального, регионального и даже мирового масштаба (в частности, В.А. Тишков), которые вышли на этот уровень через свои исследовательские практики. У меня тоже есть исследование по когнитивной практики лидеров, «Гендерный проект Мирбанка» (месяц, как 8 лет этому проекту). Его последствия, его качество – другое дело, но это региональный проект. Фракция «Женщин России» – это вот тоже проект Светланы Айвазовой: вы вложились в него (*обращаясь к ней*), вы ведь влияли на него? И что можно сказать о результатах? Про квоты – конечно, они не прошли, но ведь были дебаты, без нас их бы не было. Я не могу сказать, что я единственная его делала. Но это проект, куда мы инвестировали свои знания. «Женщины России» не прошли, но, тем не менее, мы довели ситуацию до дебатов на парламентском уровне, и без нас дебатов не было бы. Статья 19, пункт 4, Конституция Российской Федерации, описано Людмилой Завадской (кто не читал), и это наш практический результат. Сейчас создан организационный совет при

Минздраве, Институт социальной и гендерной политики был организован. Существует еще несколько институциональных политических органов по гендерной проблематике: комиссии при президенте – там общественный совет, т.е. общественная комиссия, да. И представительство лидеров женского движения там есть, обеспечивается какая-никакая повестка дня...

Между прочим, деньги Минкульта были вложены в выставку женского искусства в Третьяковской галереи «Искусство женского рода». И это тоже ответ на ваш вопрос, влияют ли гендерные исследования в России (*С. Патрушев*).

Сергей Патрушев. Это гендерный активизм, который, допустим, выиграл. Но я спрашивал о компетентных исследованиях.

Елена Кочкина. Я даю вам *мой* ответ на ваш вопрос. Подходит он вам или нет... Так вот, на мой взгляд, если сделать инвентаризацию всех результатов гендерного влияния, которые оказали гендерные исследования в России, то это будет довольно существенно. То, что мы не смогли изменить, переломить ситуацию – это другое дело. Но то, что мы практически оказали некое влияние и были востребованы практически – для меня это факт.

Игорь Кон. Мне вообще кажется, что гендерные исследования у нас развиваются успешно, причем, значительно более успешно, чем все остальные социальные исследования. (*Смех в зале.*) Я думаю, что эффект от них тоже есть. Уже тот факт, что этот аспект все труднее игнорировать и что именно поэтому возникают вопросы – видимость это или реальность и т.п. – и на них ищут реальные ответы, совершенно точно указывает, что это очень важные и социальные, и научные проблемы. И поэтому, по-моему, здесь есть о чем думать. Если говорить собственно о ГИ, здесь два совершенно разных проекта. Это в первую очередь профессионализация, выработка своего языка и т.д. Этот язык может быть специфическим, непереводаемым, я не знаю... Может быть все, что угодно, и к этому можно по-разному относиться, но это часть профессионализации. Это как бы «птичий язык», но надо признать его профессиональным. Любая наука без «птичьего языка» не обходится. У Лотмана тоже «птичий язык», вычурный, например – для того, чтобы отсечь посторонних. Но Юрий Михайлович умел говорить великолепно, применяя идеи, которые не важно, переводные или самодельные.

А вот если думать о социальном влиянии, то здесь, мне кажется, есть небольшой дефицит. Поэтому одно дело, когда гендерная проблематика репрезентирована ну, например, в журнале «Гендерные исследования», и другое дело – когда эти проблемы ставить публике на понятном уровне. Это другой вопрос, специальная работа и забота. И вот в этом, мне кажется, большой дефицит.

Михаил Рыклин. Мне кажется, тут есть одно обстоятельство, которое определило отношение ко всему климату, в котором мы живем. И это обстоятельство, бесспорно, война. Мы не просто живем в воюющей стране, причем не просто в воюющей стране, но когда правящий клан, который сложился, не правил ни одного дня без войны. И, конечно, трудно защитить некоторые аспекты светской культуры, если сохраняется фактор необъявленного чрезвычайного положения. У немецких военных историков военного времени есть такой термин «серый волк». Постепенное наблюдение ежедневной брутальности изменяет людей. И когда, грубо говоря, никто не протестует, трудно защитить какие-то аспекты культуры и т.п.

Что касается выдвижения женщин на государственные посты, что предлагалось здесь как панацея, я не вижу в этом панацею. Например, в Германии скорее всего будущим канцлером будет женщина. 99% опрошенных говорят, что госпожа Меркель не просто женщина: она женщина из Восточной Германии, плюс еще представитель университета. Но никто не ждет никаких чудес от госпожи Меркель. Это будет еще более консервативная стратегия, чем та, которую проводит Шредер...

(Шум в зале.)

Павел Романов. Мне кажется, то, что был поднят вопрос о войне, указывает, что нужно было давно задать какой-то более определенный ход нашему разговору, который переходит из одной стороны в другую. Я не решусь оживлять именно этот сюжет войны, хотя он, конечно, достоин серьезного анализа, но я попробую обратиться к самой изначальной проблеме нашего разговора, поскольку, несмотря на все наши логические повороты сегодня, мы вращаемся вокруг одного сюжета – академические гендерные исследования и социальный и одновременно политический контекст вокруг них. И в этом контексте я хочу напомнить один из аспектов социального и политического контекста. Мы с Еленой – тут рядом должны были сидеть два человека Елена Ярская-Смирнова и Павел Романов; к сожалению, Елена не смогла приехать – когда обсуждали возможность такой дискуссии, у нас возник фрагмент из песни саратовской «огней так много золотых». И я хотел здесь обратить внимание вот на какой момент – в этой песне поется, по сути дела, о разрыве между должным (или долгом) и между желанием. В наших исследованиях, мне кажется, фактически мы стоим постоянно перед тем же самым выбором – если не долгом, то искусом долга, или испытанием, которое мы обязаны воплотить в виде прагматических рецептов о том, что мы должны наше научное знание обратить на службу какому-то.

Хочу обратить ваше внимание, что исторически так сложилось, что институционализация самой науки происходит тогда, когда она в какой-то момент становится востребованной государством, которое захотело ее употре-

бить, и поэтому возникла эта коллизия – полезное научное знание. Эта проблема по-разному решалась. Одни склонялись к тому, что профессионалы и ученые – это люди совершенно автономные, но экспертиза оказывает мощное влияние на политический процесс. Другие говорят о том, что ученые должны служить полезным и любым другим начинаниям, в которые власть их рекрутирует – отсюда возник штат политтехнологов, которые служат режиму за деньги и т.д. Это, конечно, обидный сюжет. Хочу напомнить вам, что Хабермас указывал на наличие 3-х видов знания – позитивного знания, знания как герменевтики и знания как критики. Герменевтика – это то, что «парней так много холостых, а я люблю женатого»; позитивное знание – это остаться в положении человека, который работает на режим, и это безусловный постоянный советский ретро-контекст, что наука должна вращать лопасти какой-то колоссальной машины, добывать электричество и оправдывать существование каких-то очень важных вещей в обществе; критическое знание – знание совершенно автономное, которое направлено на то, чтобы экспертиза постоянно находилась в состоянии оппозиции к обществу, это диссидентское знание в значительной степени. Герменевтика – это искус того, что мы должны быть абсолютно независимы. Критическое знание похоже на мостик между абсолютной автономией герменевтической, когда мы пытаемся понять, и между позитивизмом, который пытается что-то такое на службу поставить. Мне кажется, основная проблема гендерных исследований – это найти мостик между теоретизацией социального неравенства в гендерном аспекте и проблемой того, как эту теоретизацию воплотить в конкретные шаги, которые могли бы изменить существующий режим, несмотря на то, что они могут быть авторитарными и какие-либо другими. Каждый на своем рабочем месте, что называется, пытается решить эту проблему по-своему.

В саратовском политическом пространстве наша с Еленой работа протекает в направлении социальной политики и социальной работы. Социальная работа – это ведь тоже такой же иностранный проект, как и сами гендерные исследования. Эта специальность возникла в 1991 году и была внесена в реестр профессий. До этого момента были как бы помогающие профессии, но никакой социальной работы не было и никакая благотворительность, безусловно, не есть синоним социальной работы профессиональной. И когда мы обращаемся к опыту социальной политики, то мы моментально вступаем в пространство *необходимости* воплотить наши теоретические конструкции в какие-то конкретные действия по преодолению социального неравенства, мы просто вынуждены это делать.

На нашей кафедре социальной работы, где я работаю – одновременно с тем, что я занимаюсь исследованиями в Центре Социальной Политики и Гендерных Исследований – мы пытаемся реализовать гендерный проект в условиях и 1) преподавания одновременно и 2) диалога с властью, который мы вы-

нуждены осуществлять для того, чтобы какие-то социальные сдвиги сделать. Что мы конкретно сделали? Ну, например, мы создали, фактически, многие основные положения «Концепции семейной политики саратовской области» на какой-то период времени (я не помню точно, то ли с 2003 по 2007, то ли несколько другие сроки). Это документ, который был принят областным правительством и содержит массу гендерных, гендерно ориентированных положений. Конечно, другая проблема, в какой степени этот документ может упасть на поле конкретных действий. Здесь попытки в какой области – постоянные семинары, на которых мы пытаемся наладить диалог со средствами массовой информации, соцработниками и представителями министерств в отношении дискуссии перемен демографической политики (как вы знаете, сейчас существует озабоченность проблемой рождаемости). Это один из тех политических аспектов, о которые сейчас ломаются копыя с разных сторон, клерикалы схлестнулись с феминистами и т.п. – как повлиять на эти самые процессы. Так вот, в этой области мы попытались издать несколько брошюр «Гендерные аспекты социальной политики», которые вышли при поддержке фонда Сороса. Мы попытались создать не только написанный научным языком документ экспертизы соцполитики, но и некоторые пособия для соцработников, которые они могли бы использовать в своей практике. Это тот аспект, который я сейчас затронул – это проблема языка, о которой Игорь Семенович Кон тоже сказал. Как перевести категории, которыми мы говорим в нашей научной аудитории, на язык, на котором люди общаются в практике? Поэтому критическая наука – это наука, которая пытается наладить мостик в том числе и в языковых формах между теоретизированием критическим и некими формами абстрактного знания и конкретными воплощениями какой-то политики, чтобы наше знание приобрело некие позитивные смыслы. Брошюры методические, я знаю, что сейчас есть обширная практика по этому поводу. Мы пытаемся сделать это на уровне соцсервисов, обслуживаем соцработников по этой части – и это один аспект из примеров нашей деятельности.

Я хочу напомнить в связи с тем, что мы здесь говорим об институционализации, что институционализация в социологии рассматривается в двух основных перспективах. Я упрощаю, конечно, но сначала возникает соцпотребность, а потом начали формироваться структуры, и вот они постепенно формируются и расширяются. Возникает сообщество, которое постепенно начинает институционализироваться, практики начинают хабиитуализироваться каким-то образом. И я думаю, что гендерные исследования возникли, скорее, во второй форме, т.е. никакой потребности, артикулированной политически, я, во всяком случае, не ощущал. Не вижу, чтобы она существовала.

В то же время существовало сообщество, и постепенно практики начинают хабиитуализироваться, т.е. осуществлять проект институционализации по этому самому сценарию. Это проявляется, в частности, что мы услышали сей-

час, в частности, про проект в области искусства, когда «в некие старые конструкции внедряются элементы, которые заставляют их работать совершенно новым образом». Я вижу, что это результат, что существуют гендерные специалисты, существует гендерный дискурс и существуют публикации в этой области. И постепенно существующие структуры начинают работать не в режиме воспроизведения патриархатного дискурса: возникают альтернативные тона и уже с их точки зрения защищаются диссертации, которые подрывают существование этих монодисциплин патриархатных, в том числе – и политических порядков. В нашем саратовском диссертационном Совете, в котором я и Елена имеем значительное влияние, за 10 лет защищено 10 диссертаций (кандидатских и докторских) вокруг слова гендер, где именно в названии и разделе есть риторика, которую можно ассоциировать с гендерным дискурсом, с дискриминационными аспектами, именно в отношении разделения полов и в отношении гендера конкретно. В этом я вижу аспект хабиутализации. Аспект хабиутализации проявляется еще и в том, что именно в социальной работе, а не какой-то другой, существуют гендерные дисциплины, поставленные в учебный план, стандарт. Они существуют, конечно, под названиями «гендерология», но, тем не менее, существуют учебники в этой области, и мы пытаемся писать в этой области новые тексты, которые позволяют внедряться в учебный процесс, осуществить воспроизведение знания на уровне академии через университет, на уровне университетских дисциплин. Что это – как не аспект институционализации и аспект воспроизводства научного знания? Мне кажется, что это позитивный знак, который безусловно с завтрашнего дня не позволит переключиться массовому сознанию и всем экспертам в эту область, но тем не менее он позволяет осуществить некоторые подвижки в области, в академии, которые укрепляют гендерную критику в рамках стандартных сложившихся институтов. Так же как наши попытки наладить диалог политический, не стать в оппозицию и не существовать в виде диссидентской организации, но попытаться интегрироваться в эти порядки. И это наша задача, которую мы пытаемся реализовать – совместно с этими структурами создавать такие условия, когда, например, политическая корректность становится языком той или иной политической элиты. Безусловно, до такого идеала здесь далеко, но в целом недопустимых таких вещей уже становится очевидно меньше. Поэтому мы одновременно пытаемся довести проблематику и темы, которые до сих пор не вносились, и в области социального неравенства, и в сферу соцполитики. И наиболее востребованным здесь оказывается, конечно, гендер. Мы все знаем, что соцнеравенство существует в области экономической сферы, но мы забываем, что существует соцнеравенство в сфере, например, инвалидности, и гендер здесь приносит дополнительные измерения. У нас есть работа с Еленой по одиноким матерям. Еще один аспект соцполитики, который мы тоже затронули, –

согражданство: являются ли исключенными из соцполитики те люди, которые не являются по статусу реальными пользователями социальных благ?

И резюмируя это, я хотел бы вернуться к тому, с чего начал. Мы находимся в пространстве между искусом служить политической власти и другим искусом – остаться полностью от нее автономными. И в этом пространстве нам надо создавать знание, которое бы могло осуществлять социальные изменения теми или иными способами. Это является одной из тем, которую мы тоже должны обсуждать.

Людмила Попкова. Правильно ли я поняла, что у вас получается, что тему гендерного неравенства на уровне соцполитики мы продвигаем, а все остальные политические проблемы и диалоги оставляем в стороне?

Павел Романов. Я не хотел бы так формулировать, потому что гендер – это один из аспектов соцнеравенства, вслед за ним стоит расовое неравенство, неравенство и жизнь. За этим стоит другая проблема – фактически, они были подняты одновременно и они «зацепились» за гендер – проблема неравенства по физическим качествам, инвалидность как аспект неравенства. И поэтому выдернуть что-то одно здесь я считаю невозможным. Я действительно говорю о социальной политике.

Людмила Попкова. Тогда прямой вопрос: если тоталитарный реакционный режим ведет «благоприятную» социальную политику, программу в отношении женщин – например, в Чечне – вы принимаете и работаете с этим?

Павел Романов. Мне кажется, что вопрос поставлен неправильно. Ведь не существует одна конкретная договоренность, вот сели за стол: я тебе даю карт-бланш на гендер, а на все остальное ты закрываешь глаза. Таких переговоров не ведется, как правило. Как правило, либо ведется исследование, либо образовательная практика какая-то, которую власть разрешает тебе вести, и ты реализуешь свою программу, внедряя туда свою критическую и антидискриминационную установку. Вопрос, на это закрывают глаза или не закрывают глаза, мне кажется, в реальной практике трудно поставить, потому что это взаимосвязанные вещи.

Сергей Патрушев. Институционализация – это вообще один из этапов. А дальше что?

Павел Романов. Я пытался говорить о том, что когда в пространстве, допустим, кафедры или какого-нибудь института возникает терпимое отноше-

ние, то есть возникает ситуация распространения соответствующих взглядов через какие-то публикации, через политические рекомендации, через документы, (например, регламентирующие деятельность социальных работников, политические кодексы), то это может быть реализовано и на уровне микропрактик. И так же возникает институализация.

Сергей Патрушев. Но я спросил, что после институализации? Что делать для того, чтобы новый порядок, допустим, новый гендерный порядок появился?

Павел Романов. Я предлагаю рассматривать и то, и другое одновременно на самом деле: за институализацией происходит постепенное распространение нового порядка.

Ирина Жеребкина. Если больше вопросов к Павлу нет, следующее выступление – *Наталья Пушкаревой*.

Наталья Пушкарева. Я в сокращенном виде попытаюсь высказать тезисы, которые легли в основу моего текста на эту же тему¹³. Я буду говорить об историках и этнологах. Так вот, вряд ли сейчас найдется историк или этнолог, который мог бы сказать, что он не слышал о гендерных исследованиях. И не случайно Ирина Жеребкина называет 1990-е годы «гендерные 90-е», т.е. речь идет о сформировавшемся на Западе способе форматизации действительности, который пробивает себе дорогу в российском научном пространстве и о формировании новых институций, на базе которых делаются попытки по-новому осмыслить старые способы работы и найти новые темы и области исследований. Процесс этот идет не простым путем. Гендерные исследования еще находятся в положении доказывающих свое равноправие. Позвольте напомнить, что эта непростота образуется не только и не столько условным враждебным окружением традиционно андроцентричной научной среды. Куда серьезнее, на мой взгляд, выглядит сегодняшняя проблема сосуществования двух типов дискурса, претендующих на маркировку гендера. На первый из них в свое время указала Ольга Воронина – проблема ложной теории гендера. Он опирается на традиционность гендерных ролей (хотя это и не прокламирует и даже открешивается от приписывания ему этой задачи), легитимизирует роль женщины как комплементарной к роли мужчин. Второй дискурс – тот, что ставит под сомнение естественность, взаимодополнительность гендерных ролей и предполагает феминистскую рефлексию. Сосуществование указанных дискурсов настолько переплетено, что в одном и том же учреждении, одном и том же научном центре (по крайней мере, в исторических науках) вполне могут сосуществовать сторонники и сторонницы разных подходов.

Зададим провокационный в данном контексте вопрос – плохо это или хорошо, требует ли ситуация исправления, или же, осмыслив ее, мы можем найти то, что необходимо для дальнейшего развития направления? Я позволю себе напомнить, что даже институционализованные в рамках первого из названных дискурсов женские исследования в России сделали немало для того, чтобы возникла среда для распространения основ феминистской эпистемологии. Не берусь оценивать иные гуманитарные дисциплины, но в истории и этнологии все современные исследователи стоят на плечах предшественников. Пусть те вопросы, которые мы разбираем, ставились в концептуальных рамках полового деморфизма, но ведь они были поставлены. Уже поэтому мы не можем, не имеем права сбрасывать этих первооткрывателей с «корабля современности». К ним, к первым, кто обратился к теме женских исследований, не может быть обращено требование – перекроите темы, замешанные на марксизме, на биологическом детерминизме и функционализме и т.д. Ни Тишкин, ни Павлюченко, авторы первых работ по истории женского движения, уже не станут сторонниками второго типа гендерного дискурса, никогда не смогут реализовать новый подход к работе с эмпирическим материалом. Они достойны уважения и т.д. Но как оценить творчество и образовательную деятельность их учеников и учениц, среди которых большинство составляют не сторонники и сторонницы феминистского переосмысления методов и приемов работы?

Вернусь немного назад, к теме социализации первых гендерных центров, кафедр, отделов и т.д. По сути, это вопрос, заданный Ириной, – *чей* феминизм стал основой созданий институтов и *что* он смог? И здесь, согласитесь, толчком к их возникновению был не запрос снизу (как всегда в российской истории), а влияние сверху, следовательно, не наш, а западный феминизм как составная часть общей концепции гражданского общества. Интеллектуальная и финансовая поддержка западных фондов и исследовательских организаций сыграла в этом огромную роль.

Как же оценивают сейчас западные аналитики деятельность российских гендерных центров с точки зрения вклада в формирование российского гражданского общества? «Группы, получающие помощь от западных организаций, отвечают запросам иностранных фондов больше, чем местной ситуации»; «феномен ложного активизма»; «феномены ложного гражданского общества», «фальшивого гражданского общества» – это характеристики таких западных исследователей, как Хендерсон, Сперлинг и Рихтер. Это эмоции, да, но соревнования за гранты, согласитесь, увеличили недоверие между женскими организациями. Западная помощь сделала женские организации иерархичными: они ценят собственное выживание больше своей социальной миссии. Отсюда мой вопрос, который мне бы хотелось огласить ко всем вам – можно ли согласиться с тем, что за последнее время возникла новая элита среди женских групп, что у нас создаются новые иерархии?

Следующий, так сказать, пассаж. Сразу скажу, что историки и этнологи постоянно проигрывали в конкурсах заявок, касающихся крупных организационных объединений, что не мешало отдельным исследователям, мне лично («спасибо, Татьяна Дмитриевна!» – Т. Ждановой), получать поддержку индивидуальных грантов.

Татьяна Жданова. Вы бы знали, сколько этнологов получили индивидуальные гранты Фонда Макаруров!

Наталья Пушкарева. Не по гендерной тематике. А мы о чем здесь говорим? Это только кажется, это воображаемое. Отсутствие статусных фигур среди историков-женщин, за исключением, может быть, Хасбулатовой, обладающей сильным реальным административным ресурсом, превратило институционализацию гендерных исследований в нашей области знаний в истинно воображаемую, а потому я склонна считать, что женская история у нас существует, а гендерная – нет. Поэтому так печально выглядят картины институционализации, если выделять те два основных этапа (автономизация и интеграция), о которых когда-то написали Анна Темкина и Елена Здравомыслова. Для историков вторая стратегия институализации недостижима, для этнографов это в известном смысле осуществлено, но в традиционных концептуальных рамках – история и этнологии семьи и пола, а не новые феминистские аналитические подходы.

Скажу и больше: интеграция в таком традиционном виде заставляет меня прийти к выводу о том, что направление гендерных исследований, в отличие от истории женщин, в истории и этнологии по-прежнему маргинально. Успешно и благополучно развивается описательная часть истории женщин, в то время как гендерная история и этнология, долженствующие развиваться на эпистемологических основаниях феминистской теории и методологии, остаются не слишком востребованными или просто непонятными большинству моих коллег.

Теперь, отвечая на вопросы, которые раздала Ирина, рассылая приглашения на эту встречу, мне хочется сказать о том, как преодолеть разобщенность а) двух дискурсов в научном пространстве, б) различных центров между собой, в том числе феминистски продвинутых и не слишком продвинутых, финансировавшихся и не финансировавшихся и в) практического женского движения. Так вот. Мой ответ на эти вопросы состоит в том, что нужно ставить задачу, быть понятым и услышанным не только своим научным сообществом, но и теми, кто к нему не принадлежит. Мы не имеем права пройти стороной, как проходит косой дождь, мы должны быть понятыми, не отмахиваться от всех, кто нас не поняли, звать их к диалогу, печататься в их изданиях, встречаться на конференциях и летних школах. Поэтому я и ставлю перед собой, *лично перед*

собой в данном случае, задачу развития диалога между феминистски ориентированными историками и этнологами и теми, кто работает в русле ложной теории гендера, я призываю быть терпимее, искать пути обмена мнениями, иначе феминистские единомышленники собираются на одни научные встречи, а сторонники старых подходов – на другие. Одномоментное освоение не совпадающих по времени теорий структурного анализа, социального конструирования, психоанализа, неомарксизма и постмодернистских теорий и т.д. происходило в России довольно агрессивно, в том числе в форме упрощений, схематизации и даже профанизации знания. Надо ли бояться этого дискурсивного хаоса? Так вы, Михаил, говорите? Мне думается, что нет. Преобразование чужого в свое, в том числе чужого феминизма в его российский вариант, освоение самих теорий через их культурное присваивание я не считаю потерей. Эффект доместификации западных теорий, которой меня как защитницу этой идеи присвоения не раз пугали культурологи со страниц своих обзорных публикаций, ведет, с моей точки зрения, не к выхолащиванию замечательных достижений западной мысли, а к той мысли, что феминизм многолик, феминизмов много.

Я очень давно, в середине 70-х годов, обратилась к женской теме. В 1981 году я опубликовала свою первую статью об этом. И – как и все направление женской истории в целом – я шла от комплементарности, от желания дать женщинам право голоса к написанию другой истории и осмыслению основ западной феминистской теории, причем именно на отечественном эмпирическом источниковом материале, а это, поверьте, неизмеримо сложнее, чем на западном. Вот почему, вероятно, я не вижу опасности в процессе превращения чужого в свое, в способах приспособления чужого к неудобной российской действительности. Путь навстречу, путь к поиску общего языка, общих целей, с моей точки зрения, есть путь к утверждению вечно живой для каждого разделяющего феминистские лозунги идеи равенства в развитии. Так мне видится исследовательская и практическая задачи на текущий момент. Я высказала свою позицию.

Татьяна Жданова. Ну, я не знаю... У меня вопрос. Приводились цитаты из американских исследований о влиянии западных фондов в России. Но я не поняла – это названные вами исследователи или вы сами объединили в одной категории и активистски ориентированные женские группы, и академические центры гендерных исследований? И их результаты?

Наталья Пушкарева. Прежде всего этим занимается Рихтер – вот уже лет шесть. Я все цитаты привела просто для того, чтобы обострить умышленно. Разумеется, там представлено и позитивное, я это вывела за скобки, потому что сейчас важно поднять дискуссию... Мы что – действительно создали иерар-

хии, мы что – действительно элита по отношению ко всем остальным? И что тогда делать?

Татьяна Жданова. И что – эти женские организации являются такими иерархичными, оторванными от народа, от социальной базы, от наших женщин именно вот в результате поддержки западных фондов?

Наталья Пушкарева. Конечно, не все. Но мы создавали феминизм западного образца.

Анна Темкина. Наташа, есть неплохая книжка, которая использует теорию культурных возможностей – и если через эту призму смотреть, то всегда будут видны ресурсы, капиталы, иерархии, символический капитал и т.п. Дело не в том, что женские организации, не в том, что западные фонды...

Наталья Пушкарева. Но неужели нас не касается то, что существует такой взгляд на наши женские организации? Или нам это все-таки важно, и мы должны принять для себя какое-то решение?

Светлана Айвазова. Наташа, вот вы привели цитаты. А ваше отношение к этому?

Наталья Пушкарева. Мне сложно отвечать на этот вопрос. А что касается своей позиции... Да, сложный вопрос... (*Шум, смех в зале.*)

Татьяна Жданова. Я пока в паузе хочу обратить специальное внимание, что мы много лет проводили в Фонде Макаруров конкурс индивидуальных исследований, и в рамках этого конкурса мы поддержали большое количество работ по гендерной проблематике – в том числе феминистских работ. В комитетах, которые отбирали работы, были и американские, и российские эксперты. И вот российские эксперты точно не были специалистами в гендерных исследованиях или, тем более, феминистами, а были специалистами в других социальных науках – психологии, социологии, этнологии и т.п. Во всяком случае, известных людей гендерного сообщества мы не привлекали. Но наши известные российские ученые-эксперты, совсем не будучи специалистами в этой области, захотели почему-то поддержать (и поддерживали!) гендерные исследования. Значит, есть запрос такой? Есть научный интерес?

Наталья Пушкарева. Я могу объяснить, почему тематика эта оказалась востребованной в начале 90-х годов – что очевидно совершенно. И в известной степени это было, конечно, инициировано фондами, которые поставили эту

тематику в число приоритетных. Это, конечно, способствовало возникновению самого по себе дискурсивного поля. Этнология, конечно, всегда изучалась сама по себе, но в таком ракурсе это оказалось поставленным именно благодаря западному феминизму. И в тот момент была надежда, что это движение встречное, потому что образующееся в этот момент в начале 90-х годов реальное женское движение у нас, казалось, тоже идет на этот диалог. Казалось, идут два движения навстречу.

Но мы просчитались, на мой взгляд. В принципе, конечно, можно сказать, что какое-то движение навстречу друг другу есть, но оно очень слабое. Я считаю, что теоретики по-прежнему находятся в «башне из слоновой кости». Если мы сами, первые не пойдем и не будем объяснять все то, чем мы занимаемся, человеческим языком, если мы не научимся объяснять это так, чтобы нас понимали, мы будем сами для себя писать.

Елена Здравомыслова. Мне кажется, что дело не только в том, что фонды сформировали приоритеты. Дело в том, что есть тематика, по отношению к которой наше научное сообщество чувствительно – и это тематика дискриминации и неравенства в разных аспектах. В том числе и по признаку пола. И мне кажется, когда читали люди проекты, связанные с такими темами, как «домашнее насилие», «терроризм и женское лицо» или вот «дискриминация при праве на работу», это были не теоретические вещи, а практические, связанные с опытом людей, которые были призваны решить эти исследователи. И, мне кажется, именно социальная проблема – будь она гендерная или нет – лежала в основе этого отношения.

Ирина Жеребкина. Значит, феминизм и гендерные исследования в России появились до возникновения фондов или?..

Многие голоса. Давно... легендарный журнал «Мария»... это в 60-ые годы...

Ольга Воронина. Я очень рада, что могу высказаться по поводу роли западной помощи в формировании феминистской и гендерной номенклатуры. Я читала заметки на эту тему, написанные и запущенные, прежде всего, Сергеем Ушакиным. Меня такая постановка вопроса раздражает, извините, если я буду немножко резка. Многие люди начали заниматься этой тематикой задолго до появления фондов. Она была сформирована научными потребностями людей, а вовсе даже не деньгами. Я могу назвать фамилии. Я должна сказать, что термин «гендер» в публичный дискурс пустила А. Посадская, которая писала по запросу кабинета министров в Комитет по делам женщин по государственной

политке в отношении матерей. Наташа, вы говорите про историю, а с другой стороны – вы запустили тему гендерной номенклатуры, все время говоря «мы»...

Наталья Пушкарева. В социологии – да, но в истории у нас был свой путь. Да, «мы» – это историки. Весь мой пафос только в отношении своей дисциплины или даже своих дисциплин. Здесь у меня свои тревоги, которые, возможно, не пересекаются с теми областями знания, где все идет более успешно. Может быть, кто-то скажет, у нас тоже так – я буду рада обсудить, как выйти из этого положения. Я обозначила 3 проблемы, которые для меня как для историка очень существенны.

Ольга Воронина. Понятно. Но я хотела бы высказаться на тему западной помощи и номенклатуры. Так вот, эта тематика и запрос – научный и социальный – сформировались до денег и до фондов. Другое дело, что западное финансирование помогает. Что касается гендерной номенклатуры. Что значит номенклатура? И в этом контексте я хочу спросить: кто из нас защитил диссертацию благодаря помощи западных фондов? Кто из нас благодаря западной помощи получил какой-то научный статус? Напротив, не мешало ли нам это в своих институциях? Кто из нас использует свое положение, чтобы «не пущать» других? Кто из нас не давал совершенно бесплатно огромное количество консультаций? Я не принимаю к нашему сообществу этих упреков. Ну, может быть, историки... У нас нет разрыва между нами и народом. И «в народ ходим», и просветительством занимаемся.

Ирина Жеребкина. Вопросы? Комментарии?

Михаил Рыклин. Моя мысль довольно проста – в конце 80-ых годов произошли радикальнейшие изменения. Россия, в отличие от Советского Союза, стала проводить исключительно слабую культурную политику, по сути – никакую. Отсюда эта проблематика западной финансовой поддержки. Мне кажется, проблематика фондов остро стоит здесь потому, что сейчас продолжается монополизация внутреннего капитала, и власти его раходуют непонятно расточительно. Отсюда такая болезненная проблема внутреннего финансирования. Дают художнику, например, коллосальный дворец в Кремле, потому что этот художник нравится, например, Лужкову... Пока у нас продолжает формироваться феодальная политика, влияние культурной проблематики, как она сложилась в западных странах, будет присутствовать.

Наталья Пушкарева. Михаил, извините, мы ушли от темы. Я хочу еще раз сказать, почему я эту тему подняла. Мы признаем, что у нас существует иерархия, мы признаем, что существует элита? Если мы это не признаем, мы

выводим это вообще за скобки. Если мы это признаем, то должны подумать, что нужно сделать, какие действия предпринять, чтобы преодолеть этот разрыв.

Михаил Рыклин. Вы считаете, что наши ученые – это элита?

Наталья Пушкарева. Нет, речь совершенно не об этом. Я не случайно поставила вопрос, что существуют два дискурса – эссенциалистский и феминистский. Мы хотим, чтобы они шли навстречу друг другу? Я говорила о том, что существует элита и существуют иерархии. Мы хотим, чтобы этого не было? Или мы говорим «нет», извините, как мы сформировались, так и будем, пусть у нас здесь будут свои люди. Мы здесь все собрались, мы все говорим на одном языке и не важно, что там о нас будут думать те, кто нас не понимают. И с ними я встречаться не буду, на конференции их не приглашу и в сборник их работы не отберу. Это один расклад. И есть совершенно другой, когда мы...

(Шум в зале.)

Миглена Николчина. Извините, что я прервала: у меня небольшая реплика. Когда мы в Болгарии организовывали свой Центр – а наш центр был не только первым в Болгарии, но и на Балканах – не было еще опыта организации, и было очень много работы: нужно было и то, и то, и то сделать. И денег не было, и дело было не в деньгах. Все дело в приоритетах. Для нас приоритетом были не деньги, а то, что мы делали.

Светлана Айвазова. Меня также удивило, что всех так возбудили тезисы Натальи Пушкаревой. Мне кажется, что просто смешно обсуждать проблему финансирования в той стране, где научные работники получают самую маленькую зарплату в мире, ниже прожиточного минимума. Это не совсем адекватная постановка вопроса. Мне так представляется. Без западной помощи исследователям в постсоветский период никакого развития социального знания, социальных наук здесь просто не было бы. Поэтому тут обсуждать нечего. А вот по поводу ложных теорий и теорий аутентичных, вот тут возникает вопрос. Может быть, в исторических науках ситуация особая. Я сталкиваюсь с социальными и политическими подходами в своей практике, а каждый практик должен решить вопрос, какого содержания гендерные курсы они допускают или не допускают. И я сталкиваюсь с той общей проблемой, что там, где «гендер про социальное неравенство», это мы принимаем. А там, где «гендер про политику» – вот этого нам не надо. «Гендера про политику» нам не надо! Вот об этом очень многие истории, об этом Ольга Воронина нам сегодня говорила. Вот это точка зрения, которую насаждают нам, буквально насаждают. И в результате и гендерная стратегия, о которой мы сегодня говорили, тоже построена на этом, что да, мы – за фемининные роли, а вот «про власть» нам не надо, «про власть»

чтобы ничего не было. Вот в этом месте я как представитель, наверное, этой самой гендерной элиты (о которой здесь сегодня так много говорилось) по всем правилам – как человек, который сидит в докторском Совете, как человек, который пропускает и читает тысячу рецензий, тысячу отзывов на все – вот в этом месте я беру скобку и я вот в этом месте не пропускаю работу, потому что она не гендерная (если даже и использованы какие-то «гендерные» слова). И это моя позиция, и на этом я буду стоять. Называйте себя тогда как-то иначе: пишите, что вы пишете просто политологическую работу, какую-то другую, здесь у вас возможности выбора. Поэтому я не разделяю этого пафоса, который был сегодня, что мы должны принимать «все» и это ведет к прогрессу. Здесь принципиальное ядро подхода, и отходить от него – это значит размышлять самые основы нашей позиции и тогда наступит конец всего – тот же Всемирный банк это демонстрирует, когда объясняется так: «немножко плохо женщинам, немножко плохо мужчинам», а вот когда «дискриминация женщин – нет, это нам не надо, это – не гендерные исследования». А то, что гендерные исследования неотрывно стоят на точке зрения феминистской критики, это сегодня все забывают.

Эдуард Надточий. Я философ, не связанный с активизмом гендерным, хотя читаю гендерные книги, и готовясь к этому семинару, я посмотрел русские книги по гендеру. И что меня поражает в этих исследованиях – это все, что связано с концептами. Концепты нелокализованы. Они взяты из американской гендерной теории. Даже с европейской они имеют мало общего, если не считать, там, «субъективацию» у Фуко. И сам русский материал сопротивляется. Я уже говорил Ирине Жеребкиной по поводу ее последней статьи об Антигоне, о Серовой и Симонове, что западная схема (например, Лакана), накладываясь на русский материал как логократия, как бы корежит материал. И другие попытки применения западных концептов к русской литературе – к Пушкину, например – они, как правило, нарушают сам материал. И не только они. И мне кажется, что в этом смысле надо учитывать, каким образом гендерные исследования себя воспроизводят. Это происходит в рамках американской традиции, это «экспорт европейских практик», это противостояние позитивизму и аналитике. И когда оно реэкспортируется в Россию таким странным образом, то получается какой-то коллапс семиотический.

Ирина Жеребкина. Эдик, а про то, «что делать»?

Эдуард Надточий. Совершенно ясно, что мы живем в мировом тренде, в мировом контексте двух вещей. Консервативная революция – это мировой тренд. Он будет в ближайшие несколько лет определять развитие. И нельзя сказать, что он негативный. Это позитивный тренд, связанный с локальным восприятием

ем происходящей на наших глазах глобализации. Во всем мире, не только в мире белого человека, но и в Африке, Латинской Америке... И второе – это ситуация войны, ситуация чрезвычайного положения. Новое государство, строящееся на наших глазах, деформация либерального проекта эстетического государства связаны с введением чрезвычайного положения, в которое мы входим. Оно началось, несомненно, с американского, с англо-саксонского проекта государственности, поэтому ничего деструктивного, исключительного в Чеченской войне нет, это находится в рамках мирового тренда. Россия через Чечню вошла как бы в осознание того состояния, в котором она всегда и была в основном. В России строится то, что сейчас можно назвать государством в кавычках, строится в чрезвычайном положении.

И вот то, как работают здесь политически, то, что оперируется властью и то, что называют «гендером» – я немножко удивлен. Я все-таки вижу, что французское предложение переводить «гендер» как «жанр» в России более операционально, потому что в результате «гендер» переводят на русский язык как бы как слово, лишенное смысла – как «пол» по сути дела. В результате речь на этом семинаре все время шла о равноправии полов и о субъективации женщин. Тогда как жанр и кластерная теория, отсюда вытекающая, вообще стирает проблему женщины и делает эту проблему более универсальной. Но проблема для России, мне кажется, заключается в том, что здесь нет естаса, здесь нет государства в таком смысле, как оно существует, как оно возникло в Италии и распространилось в Европе. И когда женщина пытается как субъект добиться прав в рамках этой концепции, то происходит глобальная подмена контекста, связанная со смешением, с семиотическим коллапсом европейской социальной политической традиции. Дело в том, что западное государство – естас – продукт городской европейской культуры. И прежде всего в основе его лежит университет, академический университет европейского типа. И отсюда возникает вся проблема прав человека, корпораций и т.д. Этого культурного порождающего механизма в России просто вообще не было. Университет не определяет здесь ничего и является внешней структурой.

Ирина Жеребкина. И – ближе к концу семинара – «что делать»?
(Смех в зале.)

Эдуард Надточий. Что делать? За этим вопросом на самом деле стоит вопрос «что есть?» – страшно метафизически нагруженный. И феминизм здесь возник из вопроса «что есть?» без того, чтобы говорить о нем через сущность.

Вопрос о гендерном движении – это вопрос о завоевании публичности. Женщина не должна оставаться в привате. Между тем, если система естаса не работает (это проблема Левинаса и проблема Арендт, связанная с их спором о приватном и публичном), если в России устроено все иначе, как мы можем это

видеть – в частности, приватное и публичное... Возьмем таких людей, как Розанов, например. С одной стороны, это человек, у которого завоевания голоса, русского голоса адекватного – это завоевания привата. Это политическое высказывание, но перевернутое. Если агоральное высказывание, политическое высказывание в европейском смысле – это высказывание о публичном, то здесь эта агоральность выходит в другое пространство с розановским культом семьи и т.д. Второй пример – пример Толстого. Биологическое тело, завоевание биологического тела и его возможность говорить вне каких-либо культурных репрезентаций – это тоже политическое высказывание. То есть мы видим, как в России иначе выстраивается политическое пространство. И именно это – основа для вопрошания.

Я работаю со сталинскими текстами, текстами русской литературы, русской культуры. Они в принципе нечитаемы, что можно с ними сделать? Взять схемы Лакана и применить, взять схемы феминисток применить?.. Здесь говорили о профессионализме в сфере гендерных исследований и феминизма. Так вот, их задачей в рамках академической среды является деакадемизация. Они как бы часто профессионально непригодны. Если взять Сюзан Макларен, знаменитого теоретика музыки, открыть ее книжку, то с точки зрения музыковедов эта книга профессионально непригодна. Это бессмыслица, потому что она пишет о мужском и женском у Чайковского, о нем как о гомосексуале. Я вижу, что такие исследования смещают горизонты и в рамках уже европейской традиции, видя, как входит болонская система, видно, какой хаос она в себе несет. Она смещает на сегодняшний день европейские университеты. То же самое будет происходить, совершенно ясно, и в России, так как она входит в болонскую систему. В этой новой системе – американизирующей – гендерные исследования, их профессионализм заключается не в том, чтобы следовать этим академическим канонам. Вопрос заключается в том, чтобы как-то это связывалось с русским контекстом. Это не проблема субъективации, не проблема приватного, частного, агорального. И она выстраивается несколько иначе политически. Ну, что можно сказать в результате?.. Ничего.

Виктор Воронков. Я буду исходить из заданного вопроса – «что делать»? Первое – я бы отделил академическое общество от всякой политики. Академический ученый должен исследовать, не будучи ангажированным, и потом его результаты могут использовать те, кто являются медиаторами между политиками и научным сообществом.

Второе – мы должны отделить конструктивистов от эссенциалистов. Мне вообще кажется, что эссенциализм – самая большая угроза. Я сужу, о чем и как здесь все говорят – конструктивистская фразеология, а аргументы... аргументы, конечно же, эссенциалистские. Все время женщина и мужчина в буквальном смысле этого слова.

(Смех в зале.)

И следующая задача – это усилить эмпирические исследования, которых очень мало и которые методологически часто не состоятельны. И на основании которых мы можем деконструировать привычные границы «мужчин» и «женщин». Это альтернативный дискурс, он еще очень слабый в академическом сообществе, но он должен завоевать довольно мощные позиции для того, чтобы можно было проводить в школьные учебники такие представления, в вузовских уже что-то появляется. Ведь кто «выращивает газон» – это школьные учителя. Когда мы сможем это сделать, мы будем спокойны, что это будет все воспроизводиться и общество само по себе станет меняться.

И еще одно по поводу взаимоотношений с властью, по поводу обслуживания власти. Я вообще не считаю, что ученый должен обслуживать власть. Пусть этим занимаются те, кто должны это делать – женские организации или гендерные центры, которые занимаются *практическими* программами, или политики, которые между собой дискутируют. Это если вы боитесь, что ваши результаты используют как-нибудь, как вы не ожидали – потом не отмоетесь, что вы дали эти результаты власти. А если вы говорите о квотировании, вам так наквотируют «Единая Россия» и «Родина», что начнут говорить, что там достигнуто гендерное равноправие, что женщин – половина парламента.

И последнее – по поводу всего дискурса о равенстве и защите прав женщин. Я думаю, что акцент на правах женщин – он очень проблематичен и даже опасен. Мы должны акцентировать внимание на правах человека. Я всегда говорю: а что нового приносят права женщин по сравнению с правами человека?

(Шум в зале.)

Спокойно! Мы не верим в соблюдение прав человека в этой стране и поэтому мы начинаем говорить о правах женщин? Что нарушение прав человека-женщины добавляет к нарушению прав конкретного человека? Кроме того, есть другая опасность, что когда мы дадим некоторым группам женщин – как мы даем меньшинствам, какие-то права – может возникнуть дискриминация на основании этих прав внутри этой группы со стороны тех элит, которые выделяются и начнут получать со стороны государства такую поддержку, такие права и такие привилегии.

Татьяна Герасимова. Витя, поколение прав женщин, ребенка – это четвертое поколение прав человека. Теперь что касается политического. Мы совершенно забываем две вещи, что в России самодержавие возрождается, но именно самодержавие. Ни в коем случае в России нельзя игнорировать очень серьезный факт, что в России никогда не было гражданства, а было подданство. Воображаемый музей страха. Политический главный вопрос сегодня – преодоление внутреннего страха перед неизведанным.

Что делать в плане политическом? Я занималась всю жизнь политикой, не занимаясь никогда политиками. Всю жизнь сознательную я на основе своих феминистских взглядов занималась пожилыми, бездомными, армией, женскими организациями и я никогда не соглашусь, что ученый может быть равнодушным и объективным. Поскольку здесь не было механизма двустороннего отношения государство-гражданин, то феминизм занимается сначала деконструкцией, но параллельно обязательно и созидательной деятельностью. Это женский политический взгляд.

Валерий Тишков. Я вот слушаю, и какое-то внутреннее смятение во мне растет. Но все-таки некоторые вещи, касающиеся этой повестки дня на «будущее», я бы хотел высказать. Вот в понедельник... я, так получилось, оказался в кремлевских коридорах, и более того – перед дверью одного молодого красивого политика, который по опросам общественного мнения занимает третье место после Путина и Фрадкова по степени политического влияния. И посетитель, который передо мной был, выпорхнул из кабинета, это оказалась Екатерина Лахова. Она меня увидела: «О, и ты здесь?». «Да, вот первый раз с 1992 года здесь, в Кремле». «Слушай, вот ты скажи ему про гендер, скажи ему про гендер...»...

(Смех, кашель в зале.)

Конечно, я про гендер тому человеку ничего не сказал, но для себя все-таки как бы освежил эту проблему. Вот буквально во вторник, когда мы утверждали новую структуру нашего Института, несмотря на то, что я как директор крайне недоволен работой сектора гендерных исследований или этногендерных (как-то мне кажется, он называется неудачно), было предложение не трогать его, как-то сохранить. Не только потому, что я сам его когда-то создавал, более 10 лет тому назад и даже первый год им руководил. И не потому, что там числятся выдающиеся специалисты, как, например Игорь Семенович Кон. Но потому, что я все-таки питаю надежду, что все-таки в рамках академии состоится вот эта сфера междисциплинарных исследований. Пусть не как отдельная самостоятельная наука, потому что действительно трудно выделить метод, по которому обычно образуется та или иная гуманитарная дисциплина, но, безусловно, очень мощное междисциплинарное направление. И вот на Конгрессе антропологов, который был на прошлой неделе в Санкт-Петербурге, на секцию, которую Наталья Львовна Пушкарева ведет, более ста докладчиков заявилось...

А вот на что надо обратить внимание? Мне кажется, что можно все-таки принести какой-то осязаемый результат и в получении новых знаний, и с точки зрения общеполитической значимости. Но, например, как раз в решении мужской проблемы, я бы сказал, а не женской проблемы и женского вопроса, как здесь звучало. Все-таки при всей тривиальной похожести России на все другие

крупные государства (я как раз не согласен, что есть какая-то разительная отличительность нашей страны), есть действительно очень сильная специфика, например в таких вещах, как очень низкая ценность человеческой жизни, особенно среди мужского населения, причем, не только со стороны, скажем, властей или, скажем, армии. Но вот среди самих граждан, особенно мужчин – вот это колоссальное пренебрежение тем, что дается человеку от рождения, за что он в ответе и обязан как бы исполнить эту обязанность: беречь свое тело, свое здоровье и свою жизнь. Этот вопрос имеет у нас в стране не только социальный, но и гендерный аспект, потому что такой позорной, низкой продолжительности жизни, как среди российских мужчин, ни у кого нет. Я думаю, что это очень серьезная и неотложная проблема, где гендерные исследователи могли бы внести свой вклад.

Второе направление, мне кажется, очень важно и актуально – это все-таки с исследовательской точки зрения, момент той поразительной способности к инновациям, которую продемонстрировало наше население в последние там 10-15 лет. И где проявились как раз гендерные отличия. И воздать как бы должное здесь надо, и скорее всего женщинам, чем мужчинам. Я в прошлое воскресенье попал, совершенно случайно, в «Мегу» (супермаркет), я как-то ни разу там не был. И увидел огромное пространство, где сотни людей ходили с этими тележками делать покупки. И я видел с какой растерянностью среди этой номенклатуры товаров и услуг пребывали мужчины, и как очень ловко, быстро и практически освоились, освоили в течение максимум 10 лет новую номенклатуру товаров и услуг, которая была не только недоступна, но даже неизвестна женщинам. И это очень интересный процесс, и вот об этом можно написать, потому что если только ограничивать себя проблемной сферой, как, скажем дискриминацией или права, то мы, собственно, никакого шага вперед не сделаем.

Третье направление, где, кажется, можно было бы проявить себя, и где нужно дополнительные усилия интеллектуальные – это гендерные аспекты культурного производства: сохранения, трансляции и производства культуры. И это здесь привносится с точки зрения возможностей, ну скажем, на женский взгляд. Хотя последняя Госпремия в области культуры ушла именно к реставратору-женщине, и, по-моему, к архитектору. Но вообще-то, если говорить просто, у нас разрушена вся культура... Но повторять всю эту риторику жалоб – это, собственно говоря, беспомощная и ложная позиция. А вот то сложное и абсолютно новое во многом культурное производство – массовое в том числе – в нашей стране, конечно, имеет свои гендерные аспекты, и гендерный подход может лучше это понять.

Ольга Липовская. После очередных наставлений наших многоуважаемых мужских экспертов, как и чем женщинам надо заниматься в феминизме и ген-

дерных исследованиях, я также хочу использовать свое право выступающей. И хочу здесь вернуться к теме возникновения феминизма, с которой мы сегодня начали и которую в первых выступлениях затронули Елена Гапова и Ольга Воронина в ракурсе вопросов *чей он* и *что он может*. У меня совсем другая личная история. В отличие от Елены я еще в начале 80-х стала читать книжки по гендерным исследованиям. Конечно, знание английского помогло, но, в отличие от академических людей, эти книги были подарены мне моими друзьями. Мною двигало, конечно, желание познания. Но познания как передачи знаний *людьми* – конкретными, живыми, реальными людьми, которых отличает жажда знаний, ум. Я считаю, что гендерные исследования должны обсуждаться в контексте вопроса о создании нового расширенного поля познания в рамках общества, а не в рамках существующей системы академии.

Проблема маркировки, оценки, кто гендерный, кто не гендерный и т.п., мне кажется, напрямую связана с вопросом номенклатуры. Мы занимались феминизмом до того как появились деньги. Я вообще в зависимость от денег не верю. И это поле должно быть открытое, а оно стремится выстраиваться в какие-то академические рамки. Только создавшись, оно стремится «запечататься» – и это проблема. Когда появятся открытые дискуссии, только тогда появятся гораздо большие возможности...

И по поводу того, что вот гражданского мышления у нас нет, что мы не европейцы и нет такого движения женского. Но у нас в гендерных исследованиях пока – не надо забывать – эпоха инвестиций, эпоха выработки концепций, период закладывания базы, и я думаю, что со временем дистанция будет сокращаться, интеллектуальное гендерное сообщество не будет отличаться от наших зарубежных коллег.

Ирина Жеребкина. Ольга, вы критикуете практику маркировок «гендерные/негендерные» тексты. А когда вы издавали свой знаменитый и всеми любимый журнал «Посиделки», у вас был критерий отличия «феминистских» текстов от «нефеминистских»?

Ольга Липовская. Я не говорила о том, что не признаю деления на гендерное и негендерное, а говорила, что для меня такое деление проблематично.

Ирина Жеребкина. Я спросила не про «гендерное», а про «феминистское»...

Ольга Липовская. Что касается «Посиделок» – это мой личный издательский проект. Я шла по совершенно непаханному полю – была просто идея просветительского феминистского издания, доступного каждому читателю.

Ирина Жеребкина. То есть если бы кто-нибудь прислал статью в рамках дискурса, например, социологии семьи, вы бы ее взяли?

Ольга Липовская. Конечно! Было бы даже здорово создать какое-то поле-мическое поле...

Люмила Попкова. На основе всего, что я сегодня услышала, ближе к заключению я хочу назвать для всех две основные задачи, которые стоят перед нами. *Первое* – это задача выхода из сферы гендера и интеграция, а *вторая* задача – расширение пространства своего политического влияния. И в первой, и во второй задаче есть общий недостаток – дискуссий никаких нет, никаких дебатов, ни внутри, ни вовне. Нет дискуссии на общих конференциях, ни в печатном пространстве. То, что на конгрессах существуют отдельные гендерные секции, я лично против этого. Это замкнутое пространство.

Возражаю также Виктору Воронкову, который говорит, что академическое сообщество вне политики и права женщин не релевантно как понятие и что нужно говорить о правах человека. Ведь тот же Воронков, когда проводит конференции по этничности, приглашает туда экспертов, специалистов, представителей правозащитных организаций.

В последнее время я много времени посвятила просветительскому проекту. Я проводила массу круглых столов в различных сообществах. Например, правозащитный круглый стол, организованный Фондом Бёлля, на телевидении в Дагестане. Там были представители академического сообщества, поэты, писатели, женские организации. И с чем я столкнулась в этой своей деятельности – что гендерные исследователи не могут быть в стороне от влияния на гражданское общество. Кроме них – некому! Потому что женские организации – это не феминистские организации. Поэтому они идею равноправия, идею власти не могут нести. Вопрос не о том, чтобы академические исследования обслуживали власть, но о том, что экспертные знания необходимы. Наш Самарский Гендерный Центр гордится нашей победой совместно с конфедерацией потребителей, что именно наша экспертиза дала основание о признании дискриминационной рекламной политики компании «Проктер энд Гамбел». Проникновение в профессиональные сообщества – критиков, журналистов, издательства, редакции ведущих изданий – вот куда нужно вторгаться со своим взглядом, с дискуссией. А если говорить о том, что гендерные исследования не могут оказывать влияние, менять пространство общественного сознания... ну, тогда надо оставить эти исследования. Лена Кочкина перечислила некоторые достижения – но это уже прошлое, а надо ставить вопрос о будущем. И надо ставить вопрос, кто может, кто согласен вести эти дискуссии со своими оппонентами. Многие отказываются, а Маша Арбатова тем временем занимает пространство в телевизоре...

И отдельно – вопрос о власти. Я считаю, что больше всего нам не хватает реагирования на действия власти по поводу прав женщин.

Елена Кочкина. Разрешите мне тоже высказать свое отношение к концу нашего сегодняшнего разговора. Обсуждая новые стратегии и тактики, о которых говорит Людмила, я хочу обратить внимание на то, как оценивается человеческий капитал в сфере гендерных исследований. Я – как представительница донорского сообщества – много лет и сил потратила на исследование гендерной ситуации в администрации. И сделала вывод, что работа с администрацией имеет слишком много ограничений и обесценивается отсутствием реальных событий, продвижений. Это с одной стороны. А с другой – в государстве нет гендерных субъектов, через которых этот дискурс можно интегрировать. Я не считаю тех 3 человек, которые имеют гендерный дискурс. В результате мы не имеем возможности влиять, например, на кремлевскую администрацию!

То есть к концу нашего обсуждения я могу сказать, что если посмотреть, как реализовывалась гендерная мечта Лены Кочкиной по годам за последние десять лет моей жизни и работы в этом направлении, то на 80 процентов, к сожалению, я не получила желаемого. Но мы накопили новый капитал общественный, интеллектуальный, и это надо развивать.

Татьяна Герасимова. А не допускаешь ли ты – тоже в заключение к нашему сегодняшнему разговору – что это, возможно, и есть тот 100-процентный результат, что ты потратила, как ты говоришь, 10 лет своей жизни? Это же тот самый индивидуальный вклад, который является таким дефицитом в современных позднекапиталистических или ранне-квазикапиталистических культурах. И что гораздо больше, чем «кремлевская администрация». Просто ты смотрела в другую сторону. Но ведь только базируясь на независимом интеллектуальном усилии, и можно что-то менять и вообще о чем-то говорить.

Ирина Жеребкина. Уважаемые коллеги! Мне кажется, последняя фраза позволяет нам поставить сегодня точку. И подумать. В том числе и о том, кто в «какую сторону смотрел» и как, и с какими общими результатами в этой новой академической дисциплине. И конечно же, я не возьму на себя смелость хоть как-то оценивать или подытоживать сказанное сегодня всеми нами по поводу развития гендерных исследований в бывшем СССР за 15 лет. Очевидно, к этому нужно относиться, как к еще одной попытке проговаривания нашего феминистского опыта здесь (или сопротивления ему). И попробовать понять, насколько она состоялась (и состоялась ли?) вне привычного идеологического оформления. Потому что, на мой взгляд, только на пути вне привычного идеологического оформления мы сможем что-то сказать о том феминизме и о тех гендерных исследованиях, в которых так интенсивно имманентно задействованы.

Спасибо всем за искренность! И если мы и дальше будем интересны друг другу, у нас есть возможность еще раз собраться и обсудить ту же тему на основе уже осмысления того события попытки разговора, свидетелями и со-участниками которого мы сегодня стали. И через публикацию подключить к нему других заинтересованных людей и другие возможные темы.

До следующего разговора!

-
- ¹ Модератор этого «круглого стола».
 - ² Для обсуждения на «круглом столе» были предложены 3 проблемы: 1) Политическое воображаемое в бывшем СССР: стратегии гендерного анализа (чья, какие и почему?); 2) Чей/какой феминизм и что он может? (Концептуальная специфика критического гендерного дискурса в бывшем СССР и как это влияет/должно влиять на политическую стратегию и практики институализации гендерных исследований в постсоветских условиях?); 3) Возможно ли новое демократическое политическое воображаемое гендерного дискурса, или «что делать» здесь и теперь? Программу «круглого стола» можно найти на сайте ХЦГИ: <http://www.gender.univer.kharkov.ua>.
 - ³ Текст Елены Гаповой с новым названием опубликован в этом номере журнала.
 - ⁴ Текст Ольги Ворониной полностью опубликован в этом номере журнала.
 - ⁵ «*Doing Gender* на русском поле: круглый стол» – опубликована в журнале «Гендерные исследования», № 13, 2005.
 - ⁶ «Английский рецепт» для российских гендерных исследований – см. в этом номере журнала.
 - ⁷ Форум независимого женского движения в Дубне.
 - ⁸ Текст Анны Альчук полностью опубликован в этом номере журнала.
 - ⁹ Речь идет о художнике Олеге Кулике.
 - ¹⁰ Художница Елена Ковылина. – Прим. ред.
 - ¹¹ Текст Елены Кочкиной, написанный после семинара, опубликован в этом номере журнала.
 - ¹² Учебно-методическое объединение. – Прим. ред.
 - ¹³ Текст Натальи Пушкаревой полностью опубликован в этом номере журнала.